

The background of the book cover is a detailed, textured illustration. In the center, a man in a Napoleonic military uniform stands prominently. He wears a dark bicorne hat with a red plume, a green coat with red lapels, and a red sash. He has a stern expression and is looking slightly to the left. Behind him, a chaotic battle scene unfolds with soldiers on horseback and on foot, engaged in combat. The lower portion of the cover is dominated by a fiery orange and red glow, suggesting a city or fortress under attack and burning. The overall style is reminiscent of 19th-century historical painting, with visible brushstrokes and a sense of drama and conflict.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ВОЙНА
И
МИР

КОЛЛЕКЦИОННОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ

Коллекционное иллюстрированное издание

Лев Толстой
Война и мир

«Алисторус»

1873

УДК 82-31
ББК 83.3

Толстой Л. Н.

Война и мир / Л. Н. Толстой — «Алисторус»,
1873 — (Коллекционное иллюстрированное издание)

ISBN 978-5-00180-336-2

Роман «Война и мир», одно из величайших произведений русской и мировой литературы, создавался Л.Н. Толстым на протяжении шести лет, восемь раз переписывался, а отдельные эпизоды – более двадцати раз. Исследователи насчитывают пятнадцать вариантов одного только начала романа. В данной книге использована вторая редакция «Войны и мира» (1873 год), наиболее полная и удобная для чтения, поскольку Толстой перевёл на русский весь французский текст романа. Книга снабжена большим количеством иллюстраций, показывающих прототипов главных героев, исторических персонажей, а также хронику нашествия Наполеона на Россию. Развернутые комментарии к ним дал российский литературовед, доктор филологических наук Борис Соколов. Из этих комментариев можно узнать много интересных и неожиданных подробностей об исторической канве «Войны и мира». В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82-31
ББК 83.3

ISBN 978-5-00180-336-2

© Толстой Л. Н., 1873
© Алисторус, 1873

Содержание

От автора	7
Часть первая	9
I	9
II	13
III	15
IV	19
V	21
VI	23
VII	25
VIII	29
IX	31
X	33
XI	35
XII	37
XIII	42
XIV	45
XV	47
XVI	49
XVII	51
XVIII	52
XIX	54
XX	57
XXI	60
XXII	62
XXIII	64
XXIV	67
XXV	70
XXVI	72
XXVII	74
XXVIII	77
XXIX	82
XXX	85
XXXI	88
XXXII	91
XXXIII	93
XXXIV	97
XXXV	99
XXXVI	102
XXXVII	104
Часть вторая	109
I	109
II	112
III	115
IV	118
V	124
VI	132

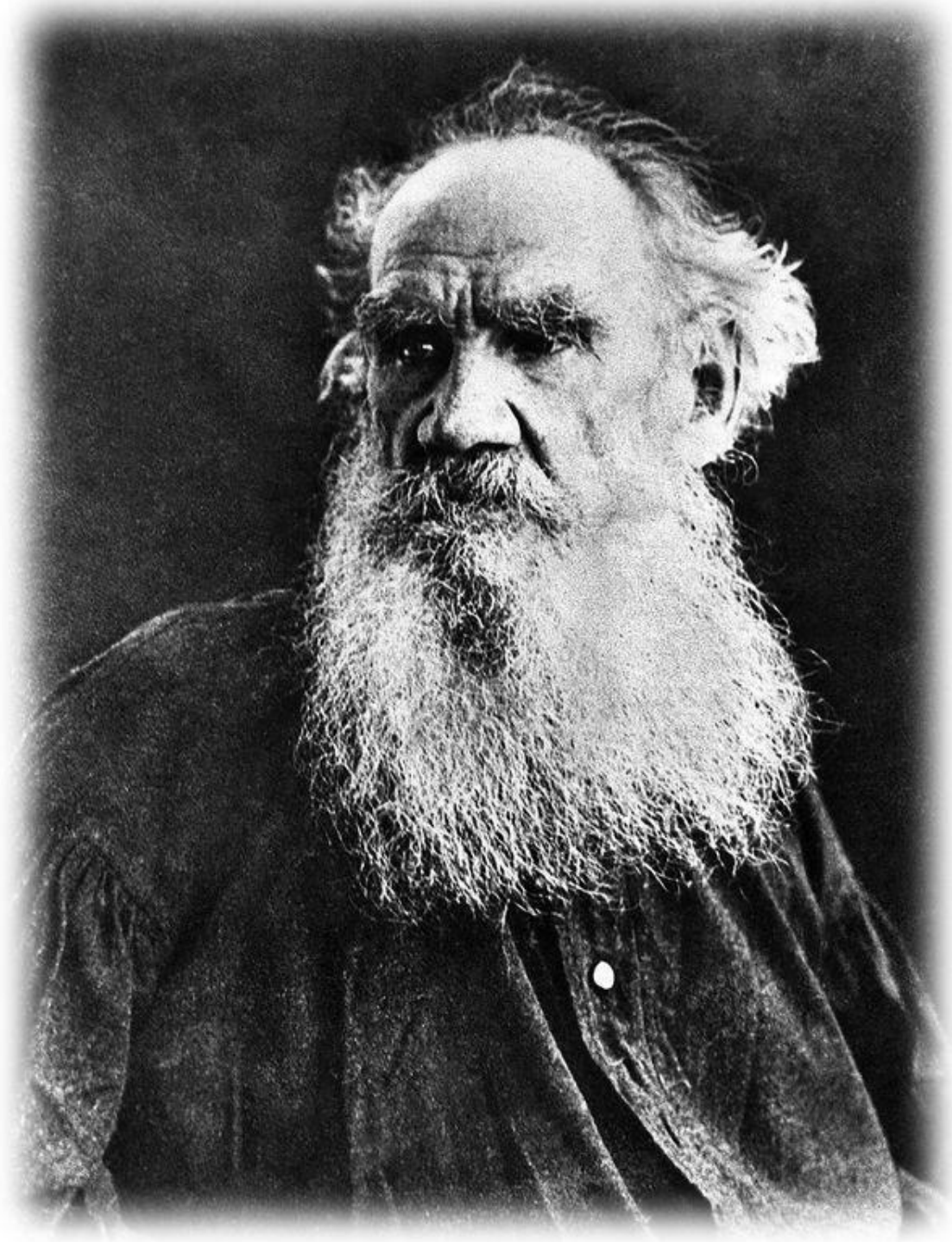
VII	134
VIII	137
IX	139
X	143
XI	147
XII	151
XIII	153
XIV	157
XV	161
XVI	163
Конец ознакомительного фрагмента.	165

Лев Николаевич Толстой

Война и мир

© Соколов Б.В., комментарии, иллюстрации, 2021

© ООО «Агентство Алгоритм», оформление, издание, 2021



Л. Н. Толстой

От автора

Я пишу до сих пор только о князьях, графах, министрах, сенаторах и их детях и боюсь, что и вперед не будет других лиц в моей истории.

Может быть, это нехорошо и не нравится публике; может быть, для нее интереснее и поучительнее история мужиков, купцов, семинаристов, но, со всем моим желанием иметь как можно больше читателей, я не могу угодить такому вкусу, по многим причинам.

Во-первых, потому, что памятники истории того времени, о котором я пишу, остались только в переписке и записках людей высшего круга грамотных; даже интересные и умные рассказы, которые мне удалось слышать, слышал я только от людей того же круга.

Во-вторых, потому, что жизнь купцов, кучеров, семинаристов, каторжников и мужиков для меня представляется однообразною и скучною, и все действия этих людей мне представляются вытекающими, большей частью, из одних и тех же пружин: зависти к более счастливым сословиям, корыстолюбия и материальных страстей. Ежели и не все действия этих людей вытекают из этих пружин, то действия их так застилаются этими побуждениями, что трудно их понимать и потому описывать.

В-третьих, потому, что жизнь этих людей (низших сословий) менее носит на себе отпечаток времени.

В-четвертых, потому, что жизнь этих людей некрасива.

В-пятых, потому, что я никогда не мог понять, что думает будочник, стоя у будки, что думает и чувствует лавочник, зазывая купить помочи и галстуки, что думает семинарист, когда его ведут в сотый раз сечь розгами, и т. п. Я так же не могу понять этого, как и не могу понять того, что думает корова, когда ее доят, и что думает лошадь, когда везет бочку.

В-шестых, потому, наконец (и это, я знаю, самая лучшая причина), что я сам принадлежу к высшему сословию, обществу и люблю его.

Я не мещанин, как с гордостью говорил Пушкин, и смело говорю, что я аристократ, и по рождению, и по привычкам, и по положению. Я аристократ потому, что вспоминать предков – отцов, дедов, прадедов моих, мне не только не совестно, но особенно радостно. Я аристократ потому, что воспитан с детства в любви и уважении к изящному, выражающемуся не только в Гомере, Бахе и Рафаэле, но и всех мелочах жизни: в любви к чистым рукам, к красивому платью, изящному столу и экипажу. Я аристократ потому, что был так счастлив, что ни я, ни отец мой, ни дед мой не знали нужды и борьбы между совестью и нуждою, не имели необходимости никому никогда ни завидовать, ни кланяться, не знали потребности образовываться для денег и для положения в свете и тому подобных испытаний, которым подвергаются люди в нужде. Я вижу, что это большое счастье и благодарю за него Бога, но ежели счастье это не принадлежит всем, то из этого я не вижу причины отречься от него и не пользоваться им.

Я аристократ потому, что не могу верить в высокий ум, тонкий вкус и великую честность человека, который ковыряет в носу пальцем и у которого душа с Богом беседует.

Все это очень глупо, может быть, преступно, дерзко, но это так. И я вперед объявляю читателю, какой я человек и чего он может ждать от меня. Еще время закрыть книгу и обличить меня как идиота, ретрограда и Асоченского, которому я, пользуясь этим случаем, спешу заявить давно чувствуемое мною искреннее и глубокое нешуточное уважение.



Ясная Поляна.

Часть первая

I

– Ну что, князь, Генуя и Лукка стали не больше как поместья, поместья фамилии Буонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста (право, я верю, что он антихрист), – я вас больше не знаю, вы уже не друг мой, вы уже не мой верный раб, как вы говорите. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Я вижу, что я вас пугаю, садитесь и рассказывайте.

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первым приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими), а потому она не дежурила и не выходила из дому. В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех:

«Если у вас, граф (или князь), нет в виду ничего лучшего и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между 7 и 10 часами.

Анна Шерер».

– О, какое жестокое нападение! – отвечал, нисколько не смутясь такой встречей и слабо улыбаясь, вошедший князь с светлым выражением хитрого лица, в придворном шитом мундире, чулках, башмаках и звездах.

Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую белизной даже между седыми волосами лысину, и покойно уселся на диване.

– Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг? Успокойте друга, – сказал он, не изменяя голоса, и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка.

– Как вы хотите, чтоб я была здорова, когда нравственно страдаешь? Разве можно оставаться спокойной в наше время, когда есть у человека чувство, – сказала Анна Павловна. – Вы весь вечер у меня, надеюсь?

– А праздник английского посланника? Ныне среда. Мне надо показаться там, – сказал князь. – Дочь заедет за мной и повезет меня.

– Я думала, что нынешний праздник отменен. Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны.

– Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили, – сказал князь, по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.

– Не мучьте меня. Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы все знаете.

– Как вам сказать? – сказал князь холодным, скучающим тоном. – Что решили? Решили, что Буонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши.

Князь Василий, говорил ли он умные или глупые, одушевленные или равнодушные слова, говорил их таким тоном, как будто он повторял их в тысячный раз, как актер роль старой пьесы, как будто слова выходили не из его соображения и как будто говорил он их не умом, не сердцем, а по памяти, одними губами.

Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов, которые она долгим опытом едва приучила себя сдерживать в рамках придворной обдуманности, приличия и сдержанности. Каждую минуту она, видимо, готова была сказать что-нибудь лишнее, но, хотя она и на волосок была от того, это лишнее не прорывалось. Она была нехороша, но, видимо, сознаваемые ею самую восторженность ее взгляда и оживление улыбки, выражавших увлечение идеальными интересами, придавали ей то, что называлось интересностью. По словам и выражению князя Василия видно было, что в том кругу, где они оба обращались, давно установилось всеми признанное мнение об Анне Павловне как о милой и доброй энтузиастке и патриотке, которая берется немножко не за свое дело и часто вдается в крайность, но мила искренностью и пылкостью своих чувств. Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.

Содержание депеши от Новосильцева, поехавшего в Париж для переговоров о мире, было следующее.

Приехав в Берлин, Новосильцев узнал, что Буонапарте издал декрет о присоединении Генуэзской республики к Французской империи в то самое время, как он изъявлял желание мириться с Англией при посредничестве России. Новосильцев, остановившись в Берлине и предполагая, что такое насилие Буонапарте может изменить намерение императора Александра, спрашивал разрешения его величества, ехать ли в Париж или возвратиться. Ответ Новосильцеву был уже составлен и должен быть отослан завтра. Завладение Генуей был желанный предлог для объявления войны, к которой мнение придворного общества было еще более готово, чем войско. В ответе было сказано: «Мы не хотим вести переговоров с человеком, который, изъявляя желание мириться, продолжает свои вторжения».

Это все было самую свежую новостью дня. Князь, видимо, знал все эти подробности из верных источников и шутливо передал их фрейлине.

– Ну, к чему повели нас эти переговоры? – сказала Анна Павловна по-французски, как происходил и весь разговор. – Ну, к чему все эти переговоры? Не переговоры, а смерть за смерть мученика нужна злодею, – сказала она, раздувая ноздри, поворачиваясь на диване и вслед за тем улыбаясь.

– Как вы кровожадны, дорогая! В политике не все делается как в гостиной. Существуют предосторожности, – сказал князь Василий с своею грустной улыбкой, которая была неестественна, но, повторяясь уж тридцать лет, так обжилась на старом лице князя, что казалась вместе и неестественною и привычною. – Есть письма от ваших? – прибавил он, видимо, считая фрейлину недостойною серьезного политического разговора и стараясь перевести его на другой предмет.

– Но к чему повели нас эти предосторожности, – продолжала спрашивать Анна Павловна, не поддаваясь ему.

– А хоть бы к тому, чтоб узнать мнение Австрии, которую вы так любите, – сказал князь Василий, видимо поддразнивая Анну Павловну и не желая выпускать разговор из шуточного тона.

Но Анна Павловна разгорячилась.

– Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницею Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру

революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю? Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет. Пруссия уже объявила, что Буонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него... И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Этот пресловутый нейтралитет Пруссии – только западня. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!..

Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своею горячностью.

– Я думаю, – сказал князь, улыбаясь, – что, ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю?

– Сейчас. Кстати, – прибавила она, опять успокаиваясь, – нынче у меня будет очень интересный человек, виконт де Мортемар. Он в родстве с Монморанси через Роганов, одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. Он очень хорошо вел себя и все потерял. Он был при герцоге Энгиенском, при несчастном святом мученике во время его пребывания в Этенгейме. Говорят, он очень мил. Ваш обворожительный сын Ипполит обещал мне привезти его. Все наши дамы без ума от него, – прибавила она с улыбкой презрения, как будто жалела о бедных дамах, не умевших выдумать ничего лучше, как влюбляться в виконта де Мортемара.

– Кроме вас, разумеется, – сказал князь все своим тоном посмеивания. – Я его видал, этого виконта, в свете, – прибавил он, видимо, мало заинтересованный надеждой видеть Мортемара. – Скажите, – сказал он, как будто только что вспомнив что-то, и особенно небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главной целью его посещения, – правда, что императрица-мать желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? Этот барон, кажется, ничтожная личность.

Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Федоровну старались доставить барону.

Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице.

– Барон Функе был рекомендован императрице-матери ее сестрою, – только сказала она совсем особенным грустным сухим тоном. В то время как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, как она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволила оказать барону Функе много уважения, и опять взгляд ее подернулся грустью.

Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, с свойственной ей придворной и женской ловкостью и быстротою такта, захотела и щелкнуть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его.

– Кстати, о вашей семье, – сказала она, – знаете ли вы, что ваша дочь составляет наслаждение всего общества. Ее находят прекрасною, как день. Государыня очень часто спрашивает про нее: «Что делает прекрасная Елена?»

Князь наклонился в знак уважения и признательности.

– Я часто думаю, – продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается душевный, – я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастье жизни. За что вам дала судьба таких двух славных детей (исключо-

чая Анатоля, вашего меньшого, я его не люблю, – вставила она безапелляционно, приподняв брови), таких прелестных детей? А вы, право, менее всех цените их и потому их не стоите.

И она улыбнулась своей восторженной улыбкой.

– Чего вы хотите? Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви, – сказал князь вяло.

– Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Я его совсем не знаю, но, кажется, он поставил задачей сделать себе скандальную репутацию. Между нами будь сказано (лицо ее приняло грустное выражение), о нем говорили у ее величества, и жалеют вас...

Князь не отвечал, но она, молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился.

– Что вы хотите, чтоб я делал? – сказал он наконец. – Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли дураки. Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатолий – беспокойный. Вот одно различие, – сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то такое грубое и неприятное, что Анне Павловне пришло на мысль: не очень, должно быть, приятно быть сыном или дочерью такого отца.

– И зачем рождаются дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, – сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза.

– Я ваш верный раб, и вам одной могу признаться. Мои дети – обуза моего существования. Это мой крест. Я так себе объясняю. Чего вы хотите? – Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе. – Да, ежели бы можно было по произволу иметь и не иметь их... Я уверен, что в наш век будет сделано это изобретение.

Анне Павловне не понравилась мысль о таком изобретении.

– Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля? Говорят, что старые девицы имеют манию женить.

Я еще не чувствую за собой этой слабости, но у меня есть одна маленькая особа, которая очень несчастлива с отцом, наша родственница, княжна Болконская.

Князь Василий не отвечал, хотя со свойственной светским людям быстротой соображения и памятью движением головы показал, что он принял к соображению это сведение.

– Нет, вы знаете ли, что этот Анатолий мне стоит 40 000 в год, – сказал он, видимо, не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал. – Что будет через пять лет, ежели это пойдет так? Вот выгода быть отцом. Она богата, ваша княжна?

– Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный Пруссским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. Бедняжка несчастлива. У нее брат, вот что недавно женился на Лизе Мейнен, адъютант Кутузова, живет здесь и будет нынче у меня. Она единственная дочь.

– Послушайте, милая Анет, – сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то книзу. – Устройте мне это дело, и я ваш вернейший раб навсегда. Она хорошей фамилии и богата. Все, что мне нужно.

И он с теми свободными и фамильярными, грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинской рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону.

– Подождите, – сказала Анна Павловна, соображая. – Я нынче же поговорю с Лизой, женой молодого Болконского. И, может быть, это уладится. Я в вашем семействе начну обучаться ремеслу старой девы.

II

Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили; приехал дипломат граф З. в звездах и орденах всех иностранных дворов, княгиня Л., отцветающая красавица, жена посланника; вошел дряхлый генерал, стуча саблей и кряхтя; вошла дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная как самая обворожительная женщина Петербурга молодая, маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера.

– Вы не видали еще, или – вы не знакомы с моей тетушкой, – говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости; называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на тетушку, и потом отходила. Все гости совершали обряд приветствия никому не известной, никому не интересной и не нужной тетушки. Анна Павловна с грустным торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Тетушка каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава богу, лучше. Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности, отходили от старушки, чтоб уж весь вечер ни разу не подойти к ней. Человек десять присутствующих мужчин и дам разместились кто у чайного стола, кто в уголку за трельяжем, кто у окна; все разговаривали и свободно переходили от одной группы к другой.

Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее – короткость губы и полуоткрытый рот – казались ее особенною, собственно ее красотой. Всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим мрачным молодым людям, смотревшим на нее, казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с нею. Кто говорил с ней и видел при каждом ее слове светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый. Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с рабочей сумочкой на руке и весело, оправляя платье, села на диван, около серебряного самовара, как будто все, что она ни делала, было развлечением для нее и для всех ее окружавших.

– Я захватила работу, – сказала она, развертывая свой ридикюль и обращаясь ко всем вместе.

– Смотрите, Анна, не сыграйте со мной дурной шутки, – обратилась она к хозяйке. – Вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер, видите, как я одета дурно.

И она развела руками, чтобы показать свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже груди опоясанное широкою лентой.

– Будьте спокойны, Лиз, вы всё будете лучше всех, – отвечала Анна Павловна.

– Вы знаете, мой муж покидает меня, он идет на смерть, – продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу. – Скажите, зачем эта гадкая война? – обратилась она к князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, к красивой Элен: – Знаете, Элен, вы становитесь слишком хороши, слишком хороши.

– Что за прелестная особа эта маленькая княгиня! – сказал князь Василий тихо Анне Павловне.

– Ваш обворожительный сын Ипполит до безумия влюблен в нее.

– У этого дурака есть вкус.

Вскоре после маленькой княгини вошел толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек, несмотря на модный покрой платья, был неповоротлив, неуклюж, как бывают неловки и неуклюжи здоровые мужицкие парни. Но он был незастенчив и решителен в движениях. На минуту остановился он посередине гостиной, не найдя хозяйки и кланяясь всем, кроме нее, несмотря на знаки, которые она ему делала. Приняв старую тетюшку за самую Анну Павловну, он сел подле нее и стал говорить с ней, но узнав, наконец, по удивленному лицу тетюшки, что этого не следует делать, встал и сказал:

– Извините, мадемуазель, я думал, что это не вы.

Даже бесстрастная тетюшка покраснела при этих бессмысленных словах и с отчаянным видом замахала своей племяннице, приглашая ее себе на помощь. Занятая до сих пор другим гостем, Анна Павловна подошла к ней.

– Очень любезно с вашей стороны, мсье Пьер, что вы пришли навестить бедную больную, – сказала она ему, улыбаясь и переглядываясь с тетюшкой.

Пьер сделал еще хуже. Он сел подле Анны Павловны с видом человека, который не скоро встанет, и тотчас же начал с нею разговор о Руссо, о котором они говорили в предпоследнее свидание. Анне Павловне было некогда. Она прислушивалась, приглядывалась, помещала и перемещала гостей.

– Я не могу понять, – говорил молодой человек, значительно глядя через очки на свою собеседницу, – почему не любят «Исповедь», тогда как «Новая Элоиза» гораздо ничтожнее.

Толстый молодой человек неловко выражал свою мысль и вызывал на спор Анну Павловну, совершенно не замечая, что фрейлине и вообще никакого дела не было до того, какое сочинение хорошо или дурно, а особенно теперь, когда ей столько надо было сообразить и вспомнить.

– «Пусть прозвучит труба последнего суда, я предстану со своею книгой в руках», – говорил он, с улыбкой цитируя первую страницу «Исповеди». – Прочтя эту книгу, полюбишь человека.

– Да, конечно, – отвечала Анна Павловна, несмотря на то, что она была совершенно противоположного мнения, и оглядывала гостей, желая встать. Но Пьер продолжал:

– Это не только книга, это поступок. Тут полная исповедь. Не правда ли?

– Но я не хочу быть его духовником, мсье Пьер, у него слишком гадкие грехи, – сказала она, вставая и улыбаясь. – Пойдемте, я вас представлю кузине.

И, отделившись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор, как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению и примечает, все ли вертятся веретена. Как хозяин прядильной, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, так и Анна Павловна подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину.

III

Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. Кроме тетушки, около которой сидела только одна пожилая дама с исплаканным худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, и еще кроме толстого мсье Пьера, который после своих бестактных разговоров с тетушкой и Анной Павловной молчал весь вечер, видимо, не знакомый почти ни с кем, и только оживленно оглядывался на тех, кто ходил и говорил громче других, – общество разбилось на три кружка. В одном центре была красавица княжна Элен, дочь князя Василия, в другом – сама Анна Павловна, в третьем – хорошенькая, румяная и слишком полная по своей молодости маленькая княгиня Болконская.

Вошел сын князя Василия Ипполит, «ваш обворожительный сын Ипполит», как неизменно называла его Анна Павловна, и ожидаемый виконт, от которого сходили с ума, по словам Анны Павловны, «все наши дамы». Ипполит вошел, глядя в лорнет, и, не опуская лорнета, громко, но неясно пробурлил: «Виконт де Мортемар», – и тотчас же, не обращая внимания на отца, подсел к маленькой княгине и, наклоня к ней голову так близко, что между ее и его лицом оставалось расстояние меньше четверти, что-то часто и неясно стал говорить ей и смеяться.

Виконт был миловидный, с мягкими чертами и приемами молодой человек, очевидно, считавший себя знаменитостью, но, по благовоспитанности, скромно предоставлявший пользоваться собой тому обществу, в котором он находился. Анна Павловна очевидно угощала им своих гостей. Как хороший метрдотель подает как нечто сверхъестественно прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидеть его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям виконта как что-то сверхъестественно утонченное, тогда как господа, стоявшие с ним в одной гостинице и игравшие с ним каждый день на биллиарде, видели в нем только большого мастера карамболировать и вовсе не находили себя счастливыми от того, что виделись и говорили с виконтом.

Заговорили тотчас об убийстве герцога Энгиенского. Виконт сказал, что герцог Энгиенский погиб от своего великодушия и что были особенные причины озлобления Буонапарте.

– Ах! Расскажите нам это, виконт, – сказала Анна Павловна.

Виконт наклонился в знак покорности и учтиво улыбнулся. Анна Павловна сделала круг около виконта и пригласила всех слушать его рассказ.

– Виконт был лично знаком с герцогом, – шепнула Анна Павловна одному.

– Виконт удивительный мастер рассказывать, – проговорила она другому.

– Как сейчас, виден человек хорошего общества, – сказала она третьему, и виконт был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбиф на горячем блюде и посыпанный зеленью.

Виконт хотел уже начать свой рассказ и тонко улыбнулся.

– Переходите сюда, дорогая Элен, – сказала Анна Павловна красавице княжне, которая сидела поодаль, составляя центр другого кружка.

Княжна Элен улыбалась; она поднялась с тою же неизменною улыбкой вполне красивой женщины, с которой она вошла в гостиную. Слегка шумя своею белою бальной робой, убранной плюшем и мехом, и блестя белизной плеч, глянцем волос и бриллиантов, она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотой своего стана, полных плеч, очень открытой по тогдашней моде груди и спины и как будто внося с собою блеск бала, подошла к Анне Павловне. Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно тени кокетства, но, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно и победи-

тельно действующую красоту. Она как будто желала и не могла умалить своей красоты. «Какая красавица!» – говорил каждый, кто ее видел.

Как будто пораженный чем-то необычайным, виконт пожал плечами и опустил глаза, в то время как она усаживалась перед ним и освещала и его все тою же неизменною улыбкой.

– Мадам, я, право, опасаясь за свои способности перед такой публикой, – сказал он, наклоняя с улыбкой голову.

Княжна облокотила свою открытую полную руку на столик и не нашла нужным что-либо сказать. Она улыбаясь ждала. Во все время рассказа она сидела прямо, посматривая изредка то на свою полную красивую руку, которая от давления на стол изменила свою форму, то на еще более красивую грудь, на которой она поправляла бриллиантовое ожерелье, поправляла несколько раз складки своего платья и, когда рассказ производил впечатление, оглядывалась на Анну Павловну и тотчас же принимала то самое выражение, которое было на лице фрейлины, и потом опять успокаивалась в сияющей улыбке. Вслед за Элен перешла и маленькая княгиня от чайного стола.

– Подождите, я возьму мою работу, – проговорила она.

– О чем вы думаете? – обратилась она к князю Ипполиту. – Принесте мне мой ридикюль.

Княгиня, улыбаясь и говоря со всеми, вдруг произвела перестановку, и, усевшись, весело оправилась.

– Теперь мне хорошо, – приговаривала она и, попросив начинать, принялась за работу. Князь Ипполит перенес ей ридикюль, перешел за нею и, близко придвинув к ней кресло, сел подле нее.

Очаровательный Ипполит поражал своим необыкновенным сходством с сестрою-красавицей и еще более тем, что, несмотря на сходство, он был поразительно дурен собой. Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той все освещалось жизнерадостной, самодовольной, молодой, неизменной улыбкой жизни и необычайной античной красотой тела; у брата, напротив, то же лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво и слабо. Глаза, нос, рот – все сжималось как будто в одну неопределенную и скучную гримасу, а руки и ноги всегда принимали неестественные положения.

– Это не история о привидениях? – сказал он, усевшись подле княгини и торопливо пристроив к глазам свой лорнет, как будто без этого инструмента он не мог начать говорить.

– Вовсе нет, – пожимая плечами, сказал удивленный рассказчик.

– Дело в том, что я терпеть не могу историй о привидениях, – сказал он таким тоном, что видно было, – он сказал эти слова, а потом уже понял, что они значили.

Из-за самоуверенности, с которою он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень глупо то, что он сказал. Он был в темно-зеленом фраке, в панталонах цвета бедра испуганной нимфы, как он сам говорил, в чулках и башмаках. Он сел в самую глубину кресла против рассказчика, положил одну руку с кольцом и гербовой печатью перед собой на стол в таком вытянутом положении, что ему стоило, видимо, большого труда удерживать ее в этом положении, однако во все время рассказа он держал так руку. Другою рукой он держал лорнет в ладони и этою же рукой опраправлял свою прическу кверху, придававшую еще более странное выражение его вытянутому лицу, и, как будто вспомнив что-то, начинал смотреть на свою выставленную руку с перстнями, потом на ноги виконта, потом весь оборачивался быстро и развинченно, как он и все делал, и долго пристально смотрел на княгиню.

– Когда я имел счастье видеть в последний раз блаженной и печальной памяти герцога Энгиенского, – начал виконт с изящной грустью в голосе, оглядывая слушателей, – он в самых лестных выражениях говорил о красоте и гениальности великой Жорж. Кто не знает этой гениальной и прелестной женщины? Я выразил свое удивление, каким образом герцог мог узнать ее, не быв в Париже эти последние годы. Герцог улыбнулся и сказал мне, что Париж не так далек от Мангейма, как это кажется. Я ужаснулся и высказал его высочеству свой страх при

мысли о посещении им Парижа. «Сударь, – сказал я, – бог знает, не окружены ли мы здесь изменниками и предателями и не будет ли ваше присутствие в Париже, как бы тайно оно ни было, известно Буонапарте?» Но герцог только улыбнулся на мои слова с рыцарством и отважностью, составляющими отличительную черту его фамилии.

– Дом Конде – ветка лавра, привитая к дереву Бурбонов, как говорил недавно Питт, – сказал монотонно князь Василий, как будто он диктовал какому-то невидимому писцу.

– Господин Питт очень хорошо выразился, – лаконически прибавил его сын Ипполит, решительно поворачиваясь на кресле туловищем в одну, а ногами в противоположную сторону, торопливо поймав лорнетку и устремив сквозь нее свой взгляд на родителя.

– Одним словом, – продолжал виконт, обращаясь преимущественно к красавице княжне, которая не спускала с него глаз, – я должен был оставить Этенгейм и узнал уже потом, что герцог, увлеченный своею отвагой, ездил в Париж, делал честь мадемуазель Жорж не только восхищаться ею, но и посещать ее.

– Но у него была сердечная привязанность к принцессе Шарлотте де Роган Рошфор, – горячо перебила Анна Павловна. – Говорили, что он тайно был женат на ней, – сказала она, видимо, испуганная будущим содержанием рассказа, который ей казался слишком вольным в присутствии молодой девушки.

– Одна привязанность не мешает другой, – продолжал виконт, тонко улыбаясь и не замечая опасений Анны Павловны. – Но дело в том, что мадемуазель Жорж прежде своего сближения с герцогом пользовалась сближением с другим человеком.

Он помолчал.

– Человека этого звали Буонапарте, – произнес он, с улыбкой оглянув слушателей.

Анна Павловна, в свою очередь, оглянулась беспокойно, видя, что рассказ делается опаснее и опаснее.

– Так вот, – продолжал виконт, – новый султан из «Тысячи и одной ночи» не пренебрегал частенько проводить свои вечера у самой красивой, самой приятной женщины во Франции. И мадемуазель Жорж, – он помолчал, пожав выразительно плечами, – должна была превратить необходимость в добродетель. Счастливцев Буонапарте приезжал обыкновенно по вечерам, не назначая своих дней.

– Ах! Я предвижу, и мне становится жутко, – пожимая полными и гибкими плечиками, сказала маленькая хорошенькая княгиня.

Пожилая дама, сидевшая весь вечер подле тетушки, перешла к кружку рассказчика, покачивая головою и улыбувшись значительно и грустно.

– Это ужасно, не правда ли? – сказала она, хотя, очевидно, и не слыхала начала истории. На неуместность ее замечания и на нее саму никто не обратил внимания.

Князь Ипполит объявил быстро и громко:

– Жорж в роли Клитемнестры удивительна!

Анна Павловна молчала и находилась в беспокойстве, не решив еще окончательно в своем уме, прилично или неприлично было то, что рассказывал виконт. С одной стороны – вечерние посещения актрис, с другой стороны – ежели уж виконт де Мортемар, родственник Монморанси через Роганов, лучший представитель Сен-Жерменского предместья, в гостиную будет говорить неприличности, то кто же, наконец, знает, что прилично и неприлично?

– В один вечер, – продолжал виконт, оглядывая слушателей и оживляясь, – Клитемнестра эта, прельстив весь театр своею удивительною передачей Расина, возвратилась домой и думала отдохнуть от усталости и волнения. Она не ждала султана.

Анна Павловна вздрогнула при слове «султан». Княжна опустила глаза и перестала улыбаться.

– Как вдруг служанка доложила, что бывший виконт Рокрой желает видеть великую актрису. Рокрой – так называл себя герцог. Он был принят, – прибавил виконт и, помолчав

несколько секунд, чтобы дать понять, что он не все рассказывает, что знает, продолжал: – Стол блестел хрусталем, эмалью, серебром и фарфором. Стояли два прибора, время летело незаметно, и наслаждение...

Неожиданно в этом месте рассказа князь Ипполит произвел странный громкий звук, который одни приняли за кашель, другие за сморканье, мычанье или смех, и стал торопливо ловить упущенный лорнет. Рассказчик удивленно остановился. Анна Павловна испуганно перебила описание наслаждений, которые с таким вкусом описывал виконт.

– Не томите нас, виконт, – сказала она.

Виконт улыбнулся.

– Наслаждение превращало часы в минуты, как вдруг послышался звонок, и испуганная горничная, дрожа, прибежала объявить, что звонит страшный бонапартовский мамелюк и что ужасный господин его уже стоит у подъезда...

– Прелестно, – прошептала маленькая княгиня, втыкая иголку в работу, как будто в знак того, что интерес и прелесть истории мешают ей продолжать работу.

Виконт оценил эту молчаливую похвалу и, благодарно улыбнувшись, хотел продолжать, когда в гостиную вошло новое лицо и произвело необходимую остановку.

IV

Новое лицо это был молодой князь Андрей Болконский, муж маленькой княгини. Не столько по тому, что молодой князь приехал так поздно, но все-таки был принят хозяйкой самым любезным образом, сколько по тому, как он вошел в комнату, было видно, что он один из тех светских молодых людей, которые так избалованы светом, что даже презирают его. Молодой князь был небольшого роста, весьма красивый, сухощавый брюнет, с несколько истощенным видом, коричневым цветом лица, в чрезвычайно изящной одежде и с крошечными руками и ногами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до ленивой и слабой походки, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживленною женой. Ему, видимо, все бывшие в гостининой не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них и слушать их ему было очень скучно, потому что он вперед знал все, что будет. Из всех же прискучивших ему лиц лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С кислою, слабою гримасой, портившей его красивое лицо, он отвернулся от нее, как будто подумал: «Тебя только недоставало, чтобы вся эта компания совсем мне противела». Он поцеловал руку Анны Павловны с таким видом, как будто готов был бог знает что дать, чтоб избавиться от этой тяжелой обязанности, и шурясь, почти закрывая глаза и морщась, оглядывал все общество.

– У вас съезд, – сказал он тоненьким голоском и кивнул головой кое-кому, кое-кому подставил свою руку, предоставляя ее пожатью.

– Вы собираетесь на войну, князь? – сказала Анна Павловна.

– Генерал Кутузов, – сказал он, ударяя на последнем слоге зов как француз, снимая перчатку с белейшей, крошечной руки и потирая ею глаза, – генерал-аншеф Кутузов зовет меня к себе в адъютанты.

– А Лиза, ваша жена?

– Она поедет в деревню.

– Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены?

Молодой адъютант сделал выпяченными губами презрительный звук, какой делают только французы, и ничего не отвечал.

– Андрей, – сказала его жена, обращаясь к мужу тем же кокетливым тоном, каким она обращалась и к посторонним, – подите сюда, садитесь, послушайте, какую историю рассказывает виконт о мадемуазель Жорж и Буонапарте.

Андрей зажмурился и сел совсем в другую сторону, как будто не слышал жены.

– Продолжайте, виконт, – сказала Анна Павловна. – Виконт рассказывал, как герцог Энгиенский бывал у мадемуазель Жорж, – прибавила она, обращаясь к вошедшему, чтобы он мог следить за продолжением рассказа.

– Мнимое соперничество Буонапарте и герцога из-за Жорж, – сказал князь Андрей таким тоном, как будто смешно было кому-нибудь не знать про это, и повалился на ручку кресла. В это время молодой человек в очках, называемый мсье Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку. Князь Андрей так мало был любопытен, что, не оглядываясь, сморщил наперед лицо в гримасу, выражавшую досаду на того, кто трогает его, но, увидав улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся тоже, и вдруг все лицо его преобразилось. Доброе и умное выражение вдруг явилось на нем.

– Как? Ты здесь, кавалергард мой милый? – спросил князь радостно, но с покровительственным и надменным оттенком.

– Я знал, что вы будете, – отвечал Пьер. – Я приеду к вам ужинать, – прибавил он тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ. – Можно?

– Нет, нельзя, – сказал князь Андрей, смеясь и отворачиваясь, но пожатием руки давая знать Пьеру, что этого не нужно было спрашивать.

Виконт рассказал, как мадемуазель Жорж умоляла герцога спрятаться, как герцог сказал, что он никогда ни перед кем не прятался, как мадемуазель Жорж сказала ему: «Ваше высочество, ваша шпага принадлежит королю и Франции», – и как герцог все-таки спрятался под белье в другой комнате, и как Наполеону сделалось дурно, и герцог вышел из-под белья и увидел перед собой Буонапарте.

– Прелестно, восхитительно! – послышалось между слушателями.

Даже Анна Павловна, заметив, что самое затруднительное место истории пройдено благополучно, и успокоившись, вполне могла наслаждаться рассказом. Виконт разгорелся и, грасируя, говорил с одушевлением актера...

– Враг его дома, похититель трона, тот, кто возглавлял его нацию, был здесь, перед ним, неподвижно распростертый на земле и, может быть, при последнем издыхании. Как говорил великий Корнель: «Злобная радость поднималась в его сердце, и только оскорбленное величие помогло ему не поддаться ей».

Виконт остановился и, собираясь повести еще сильнее свой рассказ, улыбнулся, как будто успокаивая дам, которые уже слишком были взволнованы. Совершенно неожиданно во время этой паузы красавица княжна Элен посмотрела на часы, переглянулась с отцом и вместе с ним встала, и этим движением расстроила кружок и прервала рассказ.

– Мы опоздаем, пап, – сказала она просто, продолжая сиять на всех своею улыбкой.

– Вы меня извините, мой милый виконт, – обратился князь Василий к французу, ласково притягивая его за рукав вниз к стулу, чтобы он не вставал. – Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас.

– Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер, – сказал он Анне Павловне.

Дочь его, княжна Элен, слегка придерживая складки платья, пошла между стульев, и улыбка просияла еще светлее на ее прекрасном лице.

V

Анна Павловна попросила виконта подождать ее и пошла проводить князя Василия с дочерью до другой комнаты. Пожилая дама, сидевшая прежде с тетушкой и потом изъяснившая такой бестолковый интерес к истории виконта, торопливо встала и догнала князя Василия в передней.

С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе, исплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх.

– Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе? – сказала она, догоняя его в передней (она выговаривала имя Борис с особенным ударением на о). – Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привезти моему бедному мальчику?

Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему и, чтоб он не ушел, взяла его за руку.

– Что вам стоит сказать слово государю, и он прямо будет переведен в гвардию, – просила она.

– Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня, – отвечал князь Василий, – но мне трудно просить государя; я бы советовал вам обратиться к Разумовскому, через князя Голицына, это было бы умнее.

Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России, но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтоб увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне, только затем она слушала историю виконта. Она испугалась слов князя Василия; когда-то красивое лицо ее выразило почти презрение, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватилась за руку князя Василия.

– Послушайте, князь, – сказала она, – я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Но теперь я Богом заклинаю вас, сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем, – торопливо прибавила она. – Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне. Я просила Голицына, он отказал. Будьте добрым человеком, каким вы всегда были, – говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы.

– Пап, мы опоздаем, – сказала, поворачивая свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен, ожидавшая у двери.

Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтоб он не исчез. Князь Василий знал это, и раз рассудив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить ни за кого, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва, что-то вроде укора совести. Она напомнила ему правду: первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания, а в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколебало его.

– Дорогая Анна Михайловна, – сказал он с своею всегдашней фамильярностью и скукой в голосе, – для меня почти невозможно сделать то, что вы хотите, но, чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного графа, отца вашего, я сделаю невозможное. Сын ваш будет переведен в гвардию, вот вам моя рука. Довольны вы?

И он пожал ее руку, дергая ее вниз.

– Милый мой, вы благодетель! Я иного и не ждала от вас, – так лгала и унижалась мать, – я знала, как вы добры.

Он хотел уйти.

– Пойдите, два слова. Раз он перейдет в гвардию... – она замялась. – Вы хороши с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, рекомендуйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойна, и тогда бы уж...

Анна Михайловна, будто цыганка, выпрашивала для сына тем больше, чем больше ей давали. Князь Василий улыбнулся.

– Этого не обещаю. Вы не знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил, что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты.

– Нет, обещайте, я не пушу вас, милый, благодетель мой...

– Пап, – опять тем же тоном повторила красавица, – мы опоздаем.

– Ну, прощайте. Видите?

– Так завтра вы доложите государю?

– Непременно, а Кутузову не обещаю.

– Нет, обещайте, обещайте, Василий, – сказала вслед ему Анна Михайловна, с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному, доброму лицу. Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход, по привычке, все старинные женские средства. Но как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное, притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась к кружку, в котором виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано.

VI

Конец истории виконта был следующий:

«Герцог Энгийенский достал из кармана флакон горного хрусталя, обделанный в золото, в котором были жизненные капли, подаренные его отцу графом Сен-Жерменом. Капли эти, как известно, имели свойство оживлять мертвого или почти мертвого, но их не надо было давать никому, кроме членов дома Конде. Посторонние лица, отведавшие капель, исцелялись так же, как и Конде, но делались непримиримыми врагами герцогского дома. Доказательством тому служит то, что отец герцога, желая исцелить умирающего коня, дал ему этих капель. Конь ожил, но покушался потом несколько раз погубить седока и раз понес его во время битвы в лагерь республиканцев. Отец герцога убил любимую лошадь. Несмотря на то, молодой и рыцарский герцог Энгийенский влил несколько капель в рот своего врага Буонапарте, и изверг ожил.

– Кто вы? – спросил Буонапарте.

– Родственник служанки, – отвечал герцог.

– Ложь! – закричал Буонапарте.

– Генерал, я без оружия, – отвечал герцог.

– Ваше имя?

– Я спас вам жизнь, – отвечал герцог.

Герцог уехал, а капли подействовали, и Буонапарте почувствовал ненависть к герцогу и с того дня поклялся уничтожить несчастного и великодушного юношу. Через своих клеветников, узнав по забытому герцогом платку, на котором был вышит герб дома Конде, кто был его соперник, Буонапарте велел изобрести предлог заговора Пишегрю и Жоржа Кадудалья, схватил в Баденском герцогстве мученика-героя и убил его.

– Ангел и демон. И вот каким образом было совершено самое ужасное преступление в истории.

Этим заключил виконт свою историю и от избытка волнения перевернулся на стуле. Все молчали.

– Убийство герцога было более чем преступление, виконт, – сказал князь Андрей, слегка улыбаясь, как будто он подсмеивался над виконтом, – это была ошибка.

Виконт приподнял брови и развел руками. Жест его мог означать многое.

– Но как вы находите всю эту последнюю комедию Миланского помазания? – сказала Анна Павловна. – И вот новая комедия: народы Генуи и Лукки изъявляют свои желания господину Буонапарте. И господин Буонапарте сидит на троне и исполняет желания народов. О, это восхитительно! Нет, от этого можно с ума сойти. Подумаешь, что весь свет потерял голову.

Князь Андрей отвернулся от Анны Павловны, как будто в той мысли, что эти разговоры ни к чему не ведут.

– «Бог мне дал корону. Беда тому, кто ее тронет», – произнес князь Андрей с гордостью, как будто то были его слова (слова Наполеона, сказанные при возложении короны). – Говорят, он был очень хорош, произнесся эти слова, – прибавил он.

Анна Павловна строго взглянула на князя Андрея.

– Надеюсь, – продолжала она, – что это была, наконец, та капля, которая переполнит стакан. Государи не могут долее терпеть этого человека, который угрожает всему.

– Государи? Я не говорю о России, – сказал виконт учтиво и безнадежно: – государи! Но что они сделали для Людовика XVI, для королевы, для Елизаветы? Ничего! – продолжал он, одушевляясь. – И поверьте мне, они несут наказание за свою измену делу Бурбонов. Государи? Они шлют послов приветствовать похитителя престола.

И он, презрительно вздохнув, опять переменил положение. Князь Ипполит, долго смотревший в лорнет на виконта, вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой кня-

гине и, попросив у нее иголку, стал показывать ей, рисуя иголкой на столе, герб Конде. Он толковывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня просила его об этом.

– Герб Конде представляет щит с красными и синими узкими зазубренными полосками, – говорил он. Княгиня, улыбаясь, слушала.

– Ежели еще год Буонапарте останется на престоле Франции, – продолжал виконт начатый разговор с видом человека, не слушающего других, но в деле, лучше всех ему известном, следящего только за ходом своих мыслей, – то дела пойдут слишком далеко интригой, насилием, изгнаниями, казнями. Общество, я разумею хорошее общество, французское, навсегда будет уничтожено, и тогда?

Он пожал плечами и развел руками.

– Император Александр, – сказала Анна Павловна с грустью, сопутствовавшей всегда ее речам об императорской фамилии, – объявил, что он предоставит самим французам выбрать образ правления. И я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля, – сказала Анна Павловна, стараясь быть любезнее с эмигрантом и роялистом.

– О, если бы эта счастливая минута могла прийти! – сказал виконт, с благодарностью за внимание наклоняя голову.

– А вы как думаете, мсье Пьер? – ласково спросила Анна Павловна у толстого молодого человека, которого неловкое молчание тяготило ее как любезную хозяйку. – Как вы думаете? Вы недавно из Парижа.

Анна Павловна, ожидая ответа, улыбнулась виконту и другим, как будто говоря: я и с ним должна быть любезна; видите, я обращаюсь и к нему, хотя и знаю, что он ничего не может сказать.

VII

– Вся нация умрет за своего императора, за величайшего человека в мире! – вдруг безо всяких приготовлений, громко и запальчиво заговорил молодой человек, похожий на мужицкого парня, с таким видом, как будто он боялся, что его перебьют и что он не найдет после случая высказаться вполне. Он оглянулся на князя Андрея. Князь Андрей улыбнулся.

– Величайшего гения нашего века, – продолжал Пьер.

– Как? Это ваше мнение? Вы шутите! – вскрикнула Анна Павловна с испугом, происшедшим не столько от слов, произнесенных молодым человеком, сколько от того одушевления, не гостинного и совершенно неприличного, которое выражалось в крупных и мясистых чертах молодого человека и преимущественно в звуке его голоса, который был слишком громок и, главное, естествен. Он не делал жестов, говорил прерывисто, изредка поправляя очки и оглядываясь, но по всей фигуре видно было, что теперь его никто не остановит и что он выскажет всю свою мысль, не думая о приличиях. Молодой человек был похож на дикую невыезженную лошадь, которая до тех пор, пока она не в седле и не в хомуте, смирна, даже робка и ничем не отличается от других лошадей, но которая, как только на нее надета сбруя, вдруг начинает без всякой понятной причины подгибать голову, взвизгивать и самым смешным образом козельничать, чему и сама не рада. Молодой человек, видимо, почувствовал сбрую и начал свои смешные козлы.

– О Бурбонах никто и не думает теперь во Франции, – продолжал он, торопясь, чтоб его не перебили, и постоянно оглядываясь на князя Андрея, как будто в нем одном он ждал поддержки. – Не забудьте, что только три месяца, как я приехал из Парижа.

Он говорил на отличном французском языке.

– Господин виконт совершенно справедливо полагает, что будет поздно для Бурбонов через год. И теперь уже поздно. Роялистов нет больше. Одни бросили свое отечество, другие сделались бонапартистами. Все Сен-Жерменское предместье преклоняется перед императором.

– Есть исключения, – сказал виконт снисходительно.

Светская, привычная Анна Павловна беспокойно смотрела то на виконта, то на неприличного молодого человека и не могла себе простить того, что неосторожно пригласила этого юношу, не узнавши его прежде.

Неприличный юноша был незаконный сын знаменитого богача и вельможи. Анна Павловна пригласила его из уважения к отцу и принимая в соображение то, что этот мсье Пьер только что приехал из-за границы, где он воспитывался.

«Если б я знала, что он так дурно воспитан и бонапартист», – думала она, глядя на его большую стриженую голову и мясистые крупные черты. «Вот воспитание, какое дают теперь молодым людям, – думала она. – Сразу виден человек хорошего общества», – говорила она про себя, любуясь спокойствием виконта.

– Почти все дворянство, – продолжал Пьер, – перешло к Бонапарту.

– Это говорят бонапартисты, – сказал виконт. – Теперь трудно узнать общественное мнение Франции.

– По словам Бонапарта, – сказал князь Андрей, и невольно все обратились на его тихий, ленивый, но слышный всегда по своей самоуверенности голос, ожидая услышать, что же сказал Бонапарт.

– «Я показал им путь славы, они не хотели, – продолжал князь Андрей после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона: – я открыл им мои передние, они бросились толпой». Не знаю, до какой степени имел он право так говорить, но это зло, очень зло, – заключил он с кислою улыбкой и отвернулся.

– Он имел право это сказать против роялистской аристократии; ее теперь нет во Франции, – подхватил Пьер, – а если есть, то она не имеет веса. А народ? Народ обожает великого человека, и народ избрал его. Народ не имеет предубеждения; он видел гения и героя величайшего в мире.

– Если для некоторых и был героем, – сказал виконт, не отвечая молодому человеку и даже не глядя на него, но обращаясь к Анне Павловне и князю Андрею, – то после убийства герцога одним мучеником стало больше на небе, одним героем меньше на земле.

Не успели еще Анна Павловна и другие оценить этих слов виконта, как невыезженная лошадь уже продолжала свои забавные и непривычные козелки.

– Казнь герцога Энгийенского, – продолжал Пьер, – была государственная необходимость, и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке.

– Вы одобряете убийство, – страшным шепотом проговорила Анна Павловна.

– Как, мсье Пьер, вы видите в убийстве величие души, – сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая к себе работу.

– А! О! – сказали разные голоса.

– Превосходно, – вдруг по-английски сказал князь Ипполит и принялся бить себя ладонью по коленке. Виконт только пожал плечами.

– Хороший или дурной поступок убийство герцога? – сказал он, удивляя всех своим высокого тона хладнокровием. – Одно из двух...

Пьер чувствовал, что дилемма эта была предложена ему так, что ответ он отрицательно, его заставят отречься от его восхищения к герою, ответ он положительно, что поступок хорош, бог знает что с ним случится. Он отвечал положительно, не боясь, что случится.

– Поступок этот велик, как и все, что делает этот великий человек, – сказал он отчаянно, и не обращал внимания на ужас, выразившийся на всех лицах, кроме лица князя Андрея, и на презрительные пожатия плеч; он продолжал говорить один против очевидного нежелания хозяйки. Все, кроме князя Андрея, слушали его, удивленно переглядываясь. Князь же Андрей слушал с участием и тихой улыбкой.

– Разве он не знал, – продолжал Пьер, – всей бури, которая поднимется против него за смерть герцога? Он знал, что ему придется за эту одну голову опять воевать со всею Европой, и он будет воевать, и опять будет победителем, потому что...

– Вы русский? – спросила Анна Павловна.

– Русский. Но победит, потому что он великий человек. Смерть герцога была необходима. Он гений, а гений тем и отличается от простых людей, что действует не для себя, но для человечества. Роялисты хотели опять зажечь внутреннюю войну и революцию, которую он подавил. Ему нужно было внутреннее спокойствие, и он казнию герцога показал такой пример, что Бурбоны перестали интриговать.

– Но, милый мсье Пьер, – сказала Анна Павловна, пытаясь взять кротостью, – как вы называете интригами средства к возвращению законного престола?

– Законна только народная воля, – отвечал он, – а она изгнала Бурбонов и передала власть великому Наполеону.

И он торжественно посмотрел сверх очков на слушателей.

– А! «Общественный договор», – тихо сказал виконт, видимо, успокаиваясь и узнав источник, из которого черпались доводы противника.

– А после этого?! – воскликнула Анна Павловна.

Но и после этого Пьер так же неучтиво продолжал свою речь.

– Нет, – говорил он, все более и более одушевляясь, – Бурбоны и роялисты бежали от революции, они не могли понять ее. А этот человек стал выше ее, подавил ее злоупотребле-

ния, удержав все хорошее – и равенство граждан, и свободу слова и печати, и только потому приобрел власть.

– Да, ежели бы он, взяв власть, отдал ее законному королю, – сказал виконт иронически, – тогда бы я назвал его великим человеком.

– Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только затем, чтоб он избавил его от Бурбонов, и потому что народ видел в нем великого человека. Революция сама была великое дело, – продолжал мсье Пьер, выказывая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением свою великую молодость и желание все поскорее высказать.

– Революция и цареубийство великое дело?!.. После этого...

– Я не говорю про цареубийство. Когда явился Наполеон, революция уже сделала свое время, и нация сама отдалась ему в руки. Но он понял идеи революции и сделался ее представителем.

– Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства, – опять перебил иронический голос.

– Это были крайности, разумеется, но не в них все значение, а значение в правах человека, в эмансипации от предрассудков, в равенстве граждан; и все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе.

– Свобода и равенство, – презрительно сказал виконт, как будто решившийся наконец серьезно доказать этому юноше всю глупость его речей, – все громкие слова, которые уже давно компрометировались. Кто же не любит свободы и равенства? Еще Спаситель наш проповедовал свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастливее? Напротив. Мы хотели свободы, а Буонапарте уничтожает ее.

Князь Андрей с веселою улыбкой посматривал то на мсье Пьера, то на виконта, то на хозяйку и, видимо, утешался этим неожиданным и неприличным эпизодом. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужаснулась, несмотря на свою привычку к свету, но, когда она увидела, что, несмотря на произнесенные Пьером святотатственные речи, виконт не выходил из себя, и когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она собралась с силами и, присоединившись к виконту, напала на оратора.

– Но, милый мсье Пьер, – сказала Анна Павловна, – как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец, просто человека, без суда и без вины?

– Я бы спросил, – сказал виконт, – как мсье Пьер объясняет 18 брюмера. Разве это не обман? Это шулерство, вовсе не похожее на образ действий великого человека.

– А пленные в Африке, которых он убил? – туда же сказала маленькая княгиня. – Это ужасно. – И она пожала плечиками.

– Это проходимец, что бы вы ни говорили, – сказал князь Ипполит.

Мсье Пьер не знал кому отвечать, оглянул всех, улыбнулся и улыбкой открыл неправильные черные зубы. Улыбка у него была не такая, какая у других людей, сливающаяся с неулыбкой. У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг мгновенно исчезало серьезное и даже несколько угрюмое лицо, а являлось другое, детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощения.

Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали.

– Как вы хотите, чтоб он всем отвечал вдруг? – отозвался голос князя Андрея. – Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица и полководца или императора. Мне так кажется.

– Да, да, разумеется, – подхватил Пьер, обрадованный выступившею ему подмогой. – Как человек, он велик на Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку, но...

Князь Андрей, видимо, желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся, собираясь ехать и подавая знак жене.

– Трудно судить, – сказал он, – современных людей, потомки наши оценят.

Вдруг князь Ипполит поднялся и, знаками рук останавливая всех и прося присесть, заговорил:

– Сегодня мне рассказали прелестный московский анекдот: надо вас им попотчевать. Извините, виконт, я буду рассказывать по-русски, иначе пропадет вся соль анекдота.

И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие год в России. Все приостановились: так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории.

– В Moscou есть одна барыня. И она очень скупой. Ей нужно было иметь два лакея за карета. И очень большой ростом. Это было ее вкусу. И она имела горничную еще большой росту. Она сказала...

Тут князь Ипполит задумался, видимо, с трудом соображая.

– Она сказала... да, она сказала: «Девушка, надень ливрей и поедem за мной, за карета, делать визиты».

Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчика впечатление. Однако многие, и в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись.

– Она поехала. Незапно сделалась сильный ветер. Девушка потеряла шляпа, и длинны волоса расчесались...

Тут он не мог уже более держаться и стал отрывисто смеяться и сквозь этот смех проговорил:

– И весь свет узнал...

Тем анекдот и кончился. Хотя и непонятно было, для чего он его рассказывает и для чего его надо было рассказать непременно по-русски, однако Анна Павловна и другие оценили светскую любезность князя Ипполита, так приятно закончившего неприятную и нелюбезную выходку мсье Пьера. Разговор после анекдота рассыпался на мелкие незначительные толки о будущем и прошедшем бале, спектакле, о том, когда и где кто увидится.

VIII

Поблагодарив Анну Павловну за ее прелестный вечер, гости стали расходиться.

Пьер был неуклюж. Толстый, широкий, с огромными руками, которые, казалось, были сотворены для того, чтобы ворочать пудовиками, он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть перед выходом поклониться, сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян. Вставая, он вместо своей шляпы захватил треугольную шляпу с генеральским плюмажем и держал ее, дергая султан, до тех пор, пока генерал, как показалось Пьеру, озлобленно не попросил возвратить ее. Но вся его рассеянность и неумение войти в салон и говорить в нем выкупались таким выражением благодущия и простоты, что, несмотря на все его недостатки, он невольно был симпатичен даже тем, кого приводил в неловкое положение. Анна Павловна повернулась к нему и, с христианской кротостью выражая прощение за его выходку, кивнула ему и сказала:

– Надеюсь увидеть вас еще, но надеюсь тоже, что вы перемените свои мнения, мой милый мсье Пьер.

Когда она сказала ему это, он ничего не ответил, только наклонился и показал всем еще раз свою улыбку, которая ничего не говорила, разве только вот что: «Мнения мнениями, а вы видите, какой я добрый и славный малый». И все, и Анна Павловна невольно почувствовали это.

– Знаешь, мой милый, от твоих рассуждений могут полопаться стекла, – сказал князь Андрей, пристегивая саблю.

– Не могут, – сказал Пьер, опустив голову и глядя через очки и останавливаясь. – Как же не видеть ни в революции, ни в Наполеоне ничего, кроме личных интересов Бурбонов. Мы сами не чувствуем, как много мы обязаны именно революции...

Князь Андрей не стал слушать продолжения этой речи. Он вышел в переднюю и, поставив плечи лакею, накидывавшему ему плащ, равнодушно прислушивался к болтовне своей жены с князем Ипполитом, вышедшим тоже в переднюю. Князь Ипполит стоял возле хорошенькой беременной княгини и упорно смотрел прямо на нее в лорнет.

– Идите, Анет, вы простудитесь, – говорила маленькая княгиня, прощаясь с Анной Павловной. – Это решено, – прибавила она тихо.

Анна Павловна уже успела переговорить с Лизой о предполагаемом браке Анатоля с ее невесткой и просила княгиню действовать на мужа.

– Я надеюсь на вас, милый друг, – сказала Анна Павловна тоже тихо, – вы напишете к ней и скажете мне, как отец посмотрит на дело. До свидания, – и она ушла из передней.

Князь Ипполит подошел вплоть к маленькой княгине и, близко наклоня к ней свое лицо, стал полупшепотом что-то говорить ей.

Два лакея, один княгинин, другой его, дожидаясь, когда они кончат говорить, стояли с шалью и рединготом и слушали их, непонятный им, французский говор с такими лицами, как будто они понимали, что говорится, но не хотели показывать этого. Княгиня, как всегда, говорила, улыбаясь, и слушала, смеясь.

– Я очень рад, что не поехал к посланнику, – говорил князь Ипполит, – скука... Прекрасный вечер. Не правда ли, прекрасный?

– Говорят, что бал будет очень хорош, – отвечала княгиня, вздергивая губку с усиками. – Все красивые женщины общества будут там.

– Не все, потому что вас там не будет, не все, – сказал князь Ипполит, радостно смеясь и, схватив шаль у лакея, даже толкнул его и стал надевать ее на княгиню. От неловкости или умышленно, никто бы не мог разобрать этого, он долго не опускал рук, когда шаль уже была надета, и как будто обнимал молодую женщину.

Она грациозно, но все улыбаясь, отстранилась, повернулась и взглянула на мужа. У князя Андрея глаза были закрыты, так он казался усталым и сонным.

– Вы готовы? – спросил он жену, обводя ее взглядом. Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него по-новому был длиннее пяток, и, путаясь в нем, побежал на крыльцо за княгиней, которую лакей подсаживал в карету.

– Княгиня, до свиданья, – кричал он, путаясь языком так же как и ногами.

Княгиня, подбирая платье, садилась в темноте кареты, муж ее оправлял саблю; князь Ипполит, под предлогом подслуживания, мешал всем.

– Па-азвольте, сударь, – обратился князь Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему ему пройти.

Эта «па-азвольте, сударь» прозвучало таким холодным презрением, что князь Ипполит чрезвычайно торопливо посторонился, стал извиняться и нервически перекачиваться с ноги на ногу, как будто от свежей, не остывшей, жгучей боли.

– Я тебя жду, Пьер, – слышался голос князя Андрея.

Форейтор тронул, и карета загремела колесами. Князь Ипполит смеялся отрывисто, стоя на крыльце и дожидаясь виконта, которого он обещал довести до дому...

– Ну, мой дорогой, ваша маленькая княгиня очень мила, очень мила, – сказал виконт, усевшись в карету с Ипполитом. Он поцеловал кончики своих пальцев. – И совершенная французенка.

Ипполит, фыркнув, засмеялся.

– А знаете ли, вы ужасны с вашим невинным видом, – продолжал виконт. – Я жалею бедного мужа, бедного этого офицера, который корчит из себя владетельную особу.

Ипполит фыркнул еще и сквозь смех проговорил:

– А вы говорили, что русские дамы хуже французских. Надо уметь взяться.

IX

Пьер, приехав вперед, как домашний человек, прошел в кабинет князя Андрея и тотчас же, по привычке, лег на диван, взял первую попавшуюся с полки книгу (это были Записки Цезаря) и принялся, облокотившись, читать их из середины с таким интересом, как будто он уже часа два вчитывался в них. Князь Андрей, приехав, прошел прямо в уборную и через пять минут вышел в кабинет.

– Что ты сделал с госпожой Шерер? Она теперь совсем заболела, – сказал он по-русски, входя к Пьеру в бархатной комнатной шубке и покровительственно, весело и дружески улыбаясь и потирая маленькие белые ручки, которые он, видимо, сейчас еще раз вымыл.

Пьер повернулся всем телом так, что диван заскрипел, и обернул оживленное лицо к князю Андрею, покачивая головой.

Пьер виновато кивнул.

– Я только в три проснулся. Можете себе представить, что мы выпили впятером одиннадцать бутылок. (Пьер говорил вы князю Андрею, а тот говорил ему ты. Это так установилось между ними в детстве и не переменялось). – Отличные люди! Какой там англичанин – чудо!

– Вот я никогда не понимал этого удовольствия, – сказал князь Андрей.

– Да что вы! Вы совсем другой и удивительный человек во всем, – искренно сказал Пьер.

– Опять у милого Анатоля Курагина?

– Да.

– Охота тебе с этой дрянью водиться.

– Нет, право, он славный малый.

– Дрянь! – коротко сказал князь Андрей и нахмурился. – Ипполит очень умный мальчик, не правда ли? – прибавил он.

Пьер рассмеялся, затрясшись всем своим тяжелым телом так, что опять диван заскрипел. – «В Moscou была одна барыня», – повторил он сквозь смех.

– А знаешь, он, право, добрый малый, – заступнически сказал князь. – Ну, что ж, ты решился, наконец, на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат?

Пьер сел на диван, поджав под себя ноги.

– Можете себе представить, я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится.

– Но ведь надо на что-нибудь решиться? Отец твой ждет.

Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил аббата и сказал молодому человеку: «Теперь ты поезжай в Петербург, осмотришься, заведи знакомства и подумай о выборе дороги. Я на все согласен. Вот тебе письмо к князю Василию, и вот тебе деньги. Пиши обо всем, я тебе во всем помогу». Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб.

– Я понимаю военную службу; но вот что объясните мне, – сказал он. – Зачем вы – вы понимаете все – зачем вы идете на эту войну, против кого же? Против Наполеона и Франции. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу, но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире... Я не понимаю, как вы идете?

– Видишь ли, мой милый, – начал князь Андрей, может быть, невольно желая скрыть для самого себя неясность мысли и вдруг начиная по-французски и переменяя прежний искренний тон на гостинный и холодный, – на дело можно посмотреть совсем с другой точки зрения.

И он, с таким видом, как будто все то, про что они говорили, было делом его собственным или близких ему людей, изложил Пьеру ходившее тогда в высших кружках петербургского общества воззрение на политическое назначение России в Европе в то время.

Европа со времени революции страдает от войн. Причина войн, кроме честолюбия Наполеона, заключалась в неправильности европейского равновесия. Нужно было, чтоб одна великая держава искренно и беспристрастно взялась за дело и, составив союз, обозначила бы новые границы государствам и установила бы новое европейское равновесие и новое народное право, в силу которого война оказывалась бы невозможною и все недоразумения между государствами решались бы посредничеством. Эту бескорыстную роль брала на себя Россия в предстоявшей войне. Россия будет стремиться только к тому, чтобы возвратить Францию в границы 1796 года, предоставляя самим французам выбор образа правления, также к возобновлению независимости Италии, Цизальпийского королевства, нового государства двух Бельгий, нового Германского Союза и даже к восстановлению Польши.

Пьер внимательно слушал, несколько раз порываясь вступить в спор, но удерживаясь из уважения к своему другу.

– Видишь ли ты, что мы на этот раз не так глупы, как это кажется? – заключил князь Андрей.

– Да, да, но почему ж этот план не предложат самому Наполеону? – прервал Пьер. – Он первый принял бы его, ежели этот план чистосердечен; он поймет и полюбит всякую великую мысль.

Князь Андрей помолчал и потер своею маленькою ручкой лоб.

– Кроме того, я иду... – Он остановился. – Я иду потому, что та жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь – не по мне!

– Отчего? – удивленно спросил Пьер.

– Оттого, моя душа, – вставая и улыбаясь, сказал князь Андрей, – что виконту и Ипполиту таскаться по гостиным и перебирать вздор и рассказывать сказочки про мадемуазель Жорж и про «девушка» – это прилично, а мне роль эта не годится. Довольно с меня ее, – прибавил он.

Пьер взглядом выразил свое согласие.

– Но вот еще что. Что такое Кутузов? И что такое быть адъютантом? – спросил Пьер с тою редкою наивностью, которая бывает у молодых людей, не боящихся обличить вопросом свое незнание.

– Это ты только можешь не знать, – улыбаясь и качая головою, отвечал князь Андрей. – Кутузов – правая рука Суворова, лучший русский генерал.

– Но ведь как же быть адъютантом? Вас, стало быть, и посылать могут?

– Разумеется, влияние адъютанта – самое незначительное, – отвечал князь Андрей, – но надобно начинать. Притом отец мой хотел этого. Я буду просить Кутузова дать мне отряд. А там увидим...

– Странно будет, должно быть, вам сражаться с Наполеоном, – сказал Пьер, как будто предполагая, что князю Андрею, как только он приедет на войну, придется вступить если не в единоборство, то в самое близкое состязание с Наполеоном.

Князь Андрей задумчиво улыбался своим мыслям, повертывая грациозным, женственным жестом обручальное кольцо на безымянном пальце.

Х

В соседней комнате зашумело женское платье. Как будто очнувшись, князь Андрей встряхнулся, и лицо его приняло то же выражение, какое оно имело в гостиной Анны Павловны. Пьер спустил ноги с дивана. Вошла княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Князь Андрей встал, учтиво подвигая ей кресло, но в лице его, в то время как он это делал, выражалась такая скука, что княгиня должна была бы оскорбиться, если бы в состоянии была наблюдать.

– Отчего, я часто думаю, – заговорила она, как всегда, по-французски, – отчего Анет не вышла замуж? Как вы все глупы, господа, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку.

Пьер с князем Андреем невольно переглянулись и молчали. Но ни взгляд, ни молчание их несколько не стеснили княгиню. Она продолжала все так же болтать.

– Какой вы спорщик, мсье Пьер, – обратилась она к молодому человеку. – Какой вы спорщик, мсье Пьер, – повторила она, усаживаясь поспешно и хлопотливо, как всегда, на большом кресле у камина.

Сложив над возвышением талии свои маленькие ручки, она замолкла, видимо, собираясь слушать. Ее лицо приняло то особенное серьезное выражение, при котором глаза как будто смотрят внутрь себя, – выражение, бывающее только у беременных женщин.

– Я и с мужем вашим все спорю: не понимаю, зачем он хочет идти на войну, – сказал Пьер, без всякого стеснения, столь обыкновенного в отношениях молодого мужчины к молодой женщине, обращаясь к княгине.

Княгиня встрепелась. Видимо, слова Пьера затронули ее за живое.

– Ах, вот я то же говорю! – сказала она с своею светскою улыбкой. – Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? Ну, вот вы, будьте судьей. Я ему все говорю: здесь он адъютант у дяди, самое блестящее положение... Все его так знают, так ценят. На днях у Апраксиных я слышала, как одна дама спрашивает: «Это знаменитый князь Андрей?» Честное слово.

Она засмеялась.

– Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель-адъютантом... Вы знаете, государь третьего дня очень милостиво говорил с ним. Мы с Анет говорили: это очень легко было бы устроить. Как вы думаете?

Пьер посмотрел на князя Андрея и, заметив, что разговор этот не нравился его приятелю, ничего не отвечал.

– Когда вы едете? – спросил он.

– Ах, не говорите мне про этот отъезд! Я не хочу про это слышать, – заговорила княгиня таким капризно-игривым тоном, каким она говорила с Ипполитом в гостиной и который так очевидно не шел к семейному кружку, где Пьер был как бы членом.

– Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения... И потом, ты знаешь, Андрей...

Она значительно мигнула мужу.

– Я боюсь, я боюсь! – прошептала она, содрогаясь спиной.

Муж посмотрел на нее с таким видом, как будто он был удивлен, заметив, что кто-то еще, кроме него и Пьера, находился в комнате; однако с холодной учтивостью вопросительно обратился к княгине:

– Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять, – сказал он.

– Вот как все мужчины эгоисты, все, все эгоисты! Сам из-за своих прихотей бог знает зачем бросает меня, запирает в деревню одну.

– С отцом и сестрой, не забудь, – тихо сказал князь Андрей.

– Все равно одна, без моих друзей... И хочет, чтоб я не боялась. – Тон ее уже был ворчливый, губка поднималась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выражение. Она замолчала, как будто находя неприличным говорить при Пьере про свои будущие роды, тогда как в этом и состояла сущность дела.

– Все-таки я не понял, чего ты боишься, – медленно проговорил князь Андрей, не спуская глаз с жены.

Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками.

– Нет, Андрей, я говорю: ты так, так переменялся...

– Твой доктор велит тебе раньше ложиться, – сказал князь Андрей. – Ты бы шла спать.

Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала; князь Андрей встал и, пожав плечами, прошелся по комнате.

Пьер удивленно и наивно смотрел через очки то на того, то на другого и зашевелился, как будто он то хотел встать, то опять раздумывал.

– Что мне за дело, что тут мсье Пьер, – вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую некрасивую гримасу. – Я тебе давно хотела сказать, Андрей: за что ты ко мне так переменялся? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что?

– Лиза! – только сказал князь Андрей, но в этом слове были и просьба и угроза и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах; но она торопливо продолжала:

– Ты обращаешься со мной как с больной или с ребенком. Я все вижу. Разве ты такой был полгода назад?

– Лиза, я прошу вас перестать, – сказал князь Андрей еще выразительнее.

Пьер, все более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез и сам готов был заплакать.

– Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что, я вас уверяю, я сам испытал... отчего... потому что... Нет, извините, чужой тут лишний... Нет, успокойтесь... Прощайте... извините меня...

И он, раскланиваясь, собирался уходить. Князь Андрей остановил его за руку.

– Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишиться меня удовольствия провести с тобою вечер.

– Нет, он только о себе думает, – проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез.

– Лиза, – сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту степень, которая показывает, что терпение истощено.

Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.

– Боже мой, боже мой! – проговорила княгиня и, подобрав одною рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в коричневый лоб.

– Доброй ночи, Лиза, – сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя ей руку.

XI

Друзья молчали. Ни тот, ни другой не начинал говорить. Пьер поглядывал на князя Андрея, князь Андрей потирал себе лоб своей маленькою ручкой.

– Пойдем ужинать, – сказал он со вздохом, вставая и направляясь к двери.

Они вошли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Все, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенный отпечаток новизны и изящества, которые бывают в хозяйстве молодых супругов. В середине ужина князь Андрей облокотился и, как человек, давно имеющий что-нибудь в сердце и вдруг решающийся высказаться, с выражением нервного раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал своего приятеля, начал говорить:

– Никогда, никогда не женись, мой друг, вот тебе мой совет, не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно, а то ты ошибешься жестоко и непорочно. Женись стариком никуда негодным... А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом... Да что!..

Он энергически махнул рукой.

Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга.

– Моя жена, – продолжал князь Андрей, – прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; но, боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя.

Князь Андрей, говоря это, был еще менее похож, чем прежде, на того господина, который лежал, развалившись, в креслах Анны Павловны, и сквозь зубы, шурясь, говорил французские фразы. Его сухое коричневатое лицо все дрожало нервическим оживлением каждого мускула; глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блестели лучистым, ярким блеском. Видно было, что, чем безжизненнее казался он в обыкновенное время, тем энергичнее был он в эти минуты почти болезненного раздражения.

– Ты не понимаешь, отчего я это говорю, – продолжал он. – Ведь это целая история жизни. Ты говоришь: Буонапарте и его карьера, – сказал он, хотя Пьер и не говорил про Буонапарте. – Ты говоришь: Буонапарте, но Буонапарте кончил курс в артиллерийском училище и вышел в свет, когда была война и дорога к славе была открыта каждому.

Пьер смотрел на друга, видимо, вперед готовый согласиться со всем, что бы тот ни сказал.

– Буонапарте вышел и сейчас же нашел то место, которое он должен был занять. И кто были у него друзья? Кто была Жозефина Богарне? Мои пять лет жизни по выходе из пажеского корпуса – гостиные, балы, любовные связи, праздность. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь. Я любезен и язвителен, и у Анны Павловны меня слушают, а я забыл, что знал. Я теперь только начал читать, но все это без связи. А без знания военной истории, математики, фортификации не может быть военного человека. И это глупое общество, без которого не может жить моя жена, и эти женщины... Я имел успех в свете. Самые изысканные женщины бросались мне на шею. И ежели бы ты мог знать, что такое все эти изысканные женщины, и вообще женщины! Отец мой прав. Он говорит, что природа не премудра, потому что она не могла выдумать средства к распространению рода человеческого помимо женщины. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем – вот женщины, когда они показываются все так, как они есть. Посмотришь на них в свете, кажется, что-то есть, а ничего, ничего, ничего! Да, не женись, душа моя, не женись, –

кончил князь Андрей, и так значительно покачал головой, как будто все то, что он сказал, была такая истина, в которой никто не мог сомневаться.

– Мне смешно, – сказал Пьер, – что вы себя, вы себя считаете неспособным, свою жизнь испорченную жизнью. У вас все, все впереди. И вы...

Он не сказал что вы, но уже тон его показывал, как высоко ценит он друга и как многого ждет от него в будущем.

В самых лучших, дружеских и простых отношениях лесть или похвала необходимы, как подмазка необходима для колес, чтоб они ехали.

– Я человек конченный, – сказал князь Андрей, но по высоко и гордо поднятой красивой голове и яркому блеску взгляда видно было, как мало он верил в то, что говорил. – Что обо мне говорить? Давай говорить о тебе, – сказал он, помолчав и улыбнувшись своим утешительным мыслям. Улыбка эта в то же мгновение отразилась на лице Пьера.

– А обо мне что говорить? – сказал Пьер, распуская свой рот в беззаботную, веселую улыбку. – Что я такое? Я незаконный сын.

И он вдруг, впервые во весь вечер, багрово покраснел. Видно было, что он сделал большое усилие, чтобы сказать это.

– Без имени, без состояния. И что ж, право...

Но он не сказал, что право.

– Я свободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел серьезно посоветоваться с вами.

Князь Андрей добрыми глазами смотрел на него. Но во взгляде его, дружеском, ласковом, все-таки выражалось сознание своего превосходства.

– Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек. Среди всего нашего света. Тебе хорошо. Выбери, что хочешь, это все равно. Ты везде будешь хорош, но одно: перестань ты ездить к этим Курагиным, вести эту жизнь. Так это не идет тебе: все эти кутежи и гусарство, и все.

– Знаете что, – сказал Пьер, как будто ему пришла неожиданно счастливая мысль, – серьезно, я давно это думал. С этою жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду.

– Дай мне слово, честное слово, что ты не будешь ездить?

– Честное слово.

– Смотри.

– Конечно.

XII

Уже был второй час ночи, когда Пьер вышел от своего друга. Ночь была июньская, петербургская, бессумрачная ночь. Пьер сел в извозчичью коляску с намерением ехать домой. Но чем ближе он подъезжал, тем более он чувствовал невозможность заснуть в эту ночь, походившую более на вечер или на утро. Далеко было видно по пустым улицам. Ему представлялось оживленное прекрасное лицо князя Андрея, ему слышались его слова – не об отношениях его к жене (это не занимало Пьера) – но его слова о войне и о той будущности, которая могла ожидать его друга. Пьер так безусловно любил и преклонялся перед своим другом, что не мог допустить, чтобы князя Андрея, как скоро он сам того захочет, все не признали замечательным и великим человеком, которому свойственно повелевать, а не подчиняться. Пьер никак не мог представить себе, чтоб у кого бы то ни было, у Кутузова, например, достало духа отдавать приказания такому человеку, очевидно рожденному для первой роли во всем, каким представлялся ему князь Андрей. Он воображал себе своего друга перед войсками, на белом коне, с краткою и сильною речью в устах, воображал себе его храбрость, его успехи, геройство и все, что воображает большинство молодых людей для самих себя. Пьер вспомнил, что он обещался нынче отдать небольшой карточный долг Анатолю, у которого нынче вечером должно было собраться обычное игорное общество.

– Пошел к Курагину, – сказал он кучеру, думая только о том, где бы провести остаток ночи и совершенно забыв данное князю Андрею слово не бывать у Курагина.

Подъехав к крыльцу большого дома у конногвардейских казарм, в котором жил князь Анатолий Курагин, он вспоминал свое обещание, но тут же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось войти взглянуть еще раз на эту столь знакомую и надоевшую ему беспутную жизнь, и невольно пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, к тому же, еще прежде, чем князю Андрею, он дал также Анатолю слово привезти долг; наконец, он подумал, что все эти честные слова такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет, или случится с ним что-нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честного, ни бесчестного.

Он поднялся на освещенное крыльцо, на лестницу, и вошел в отворенную дверь. В роскошной передней никого не было, валялись пустые бутылки, в углу гора изогнутых карт, плащи, калоши; пахло вином; слышался дальний говор и крик.

Видимо, игра и ужин уже кончились, но гости еще не разъезжались. Пьер скинул плащ и вошел в первую комнату, где посередине стояла статуя скаковой лошади во весь рост. Из третьей комнаты слышались яснее возня и знакомые хохот и крики человек шести или восьми. Он вошел в третью комнату, в которой стояли еще остатки ужина. Человек восемь молодых людей, все без сюртуков и большею частью в военных рейтузах, толпились около открытого окна и все вместе по-русски и по-французски кричали непонятные слова.

– Держу за Чаплина сто! – кричал один.

– Смотри, не поддерживать! – кричал другой.

– Я за Долохова! – кричал третий. – Разними, Курагин.

– Одним духом, иначе проиграно! – кричал четвертый.

– Яков, давай бутылку, Яков! – кричал сам хозяин, высокий, статный красавец, стоявший посреди толпы. – Стойте, господа. Вот он, Пьер!

– А! Петр! Петруша! Петр Великий!

– Петр толстый! – закричали со всех сторон, обступая его.

На всех, красных и с красными пятнами, молодых лицах выразилась радость при виде Пьера, который, сняв очки и протирая их, смотрел на всю эту толпу.

– Ничего не понимаю. В чем дело? – сказал он, благодушно улыбаясь.

– Стойте, он не пьян. Дай бутылку, – сказал Анатолий и, взяв со стола стакан, подошел к Пьеру.

– Прежде всего пей.

Пьер молча стал пить стакан за стаканом, исподлобья оглядывая пьяных гостей, которые опять столпились у окна, толкуя о чем-то, ему непонятном. Он выпил один стакан залпом; Анатолий с значительным видом налил ему другой. Пьер покорно выпил, хотя и медленнее первого. Анатолий налил третий. Пьер выпил и этот, хотя остановился два раза, чтобы перевести дух. Анатолий стоял подле, серьезно глядя своими прекрасными большими глазами попеременно на стакан, на бутылку и на Пьера. Анатолий был красавец: высокий, полный, белый, румяный; грудь у него была так высока, что голова откидывалась назад, что придавало ему гордый вид. У него был прекрасный свежий рот, густые русые волосы, навывкате черные глаза и общее выражение силы, здоровья и добродушия свежей молодости. Но прекрасные глаза его с чудесными, правильными, черными бровями как будто были сделаны не столько для того, чтобы смотреть, сколько для того, чтобы на них смотрели. Они казались неспособными изменять выражение. Что он был пьян, это видно было только по его красному лицу, но еще более по неестественно выпученной груди и по разинутости глаз. Несмотря на то, что он был пьян и что верхняя часть его могущественного тела покрывалась только рубашкой, раскрытой на груди, – по легкому запаху духов и мыла, который сливался вокруг него с запахом выпитого вина, по тщательно напomaженной утром прическе его волос, по изящной чистоте пухлых рук и тончайшего белья, по этой белизне и гладкой нежности кожи, – и в теперешнем состоянии его был виден аристократ, в смысле вошедшего с детства в привычку тщательного и роскошного ухода за своею особой.

– Ну, пей же всю! А? – сказал он серьезно, подавая последний стакан Пьеру.

– Нет, не хочу, – сказал Пьер, запинаясь на половине стакана. – Ну, в чем дело? – прибавил он с видом человека, исполнившего приготовительную обязанность и теперь считающего себя вправе принять участие в общем деле.

– Пей же всю. А? – повторил Анатолий, шире разевая глаза, и поднял своею белою, голою до локтя рукой недопитый стакан. Он имел вид человека, делающего важное дело, потому что всю энергию свою в эту минуту он употреблял на то, чтобы держать стакан прямо, и сказать именно то, что он хотел сказать.

– Говорю – не хочу, – отвечал Пьер, надевая очки и отходя прочь. – О чем вы кричите? – спросил он у толпы, собравшейся у окна.

Анатолий постоял, подумал, отдал стакан слуге и, слегка улыбнувшись своим красивым ртом, подошел тоже к окну.

По пятницам Анатолий Курагин принимал всех у себя, у него играли, ужинали и потом проводили ночь большею частью вне дома. В этот день игра в фараон завязалась продолжительная и большая. Анатолий проиграл немного, и так как он не имел страсти к игре, а играл по привычке, то скоро отстал. Один богач, лейб-гусар, проиграл много, а один семеновский офицер, Долохов, выиграл у всех. После игры, сели очень поздно ужинать. Весьма серьезный англичанин, выдававший себя за путешественника, сказал, что он полагал, по дошедшим до него сведениям, что русские гораздо сильнее пьют, чем он это нашел на деле. Он говорил, что в России пьют только шампанское, а что ежели пить ром, то он предлагает пари, что выпьет больше всех присутствовавших. Долохов, тот офицер, который больше всех выиграл в тот вечер, сказал, что просто о бутылке рома не стоит держать пари, а что он вызывается выпить ее, не отводя ее ото рта и сидя на окне третьего этажа со спущенными наружу ногами. Англичанин предложил пари. Анатолий принял пари за Долохова, то есть, что Долохов выпьет бутылку рома на окне. В ту минуту, когда вошел Пьер, лакеи выставляли раму, чтобы можно было сесть на наружный подоконник. Окно в третьем этаже было достаточно высоко для того, чтоб упавший с него мог

убиться до смерти. С разных сторон пьяные и дружелюбные лица рассказывали Пьеру, в чем дело, как будто полагая в том, что Пьер будет знать это дело, какую-то особенную важность.

Долохов был гвардейского пехотного полка офицер, среднего роста, мускулистый, как бы сбитый весь, с широкою и полною грудью, чрезвычайно курчавый и с светлыми голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Рот этот был чрезвычайно приятен, несмотря на то, что почти никогда не улыбался. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В середине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю; острым клином в углах образовывалось постоянно что-то в роде двух улыбок, по одной с каждой стороны, и всё вместе в соединении с прямым, несколько наглым, но огненным и умным взглядом, составляло впечатление такое, что, проходя мимо этого лица, нельзя было не заметить его и не спросить, кто этот обладатель такого красивого и странного лица. Женщинам Долохов нравился, и он искренно был убежден, что безупречных женщин не бывает. Долохов был молодой человек хорошей фамилии, но не богатый; однако он жил роскошно и постоянно играл. Он почти всегда выигрывал; но никто, даже и в отсутствие его, не смел приписывать его постоянный успех чему-нибудь другому, кроме счастья, светлой головы и непоколебимой силы воли. В душе каждый, игравший с ним, предполагал в нем шулера, хотя и не смел сказать этого. Теперь, когда он затеял свое странное пари, пьяное общество приняло особенно живое участие в его намерении. И именно потому, что знавшие его знали, что сказанное им будет сделано. Пьер знал это также и потому только поздоровался с Долоховым и не пытался возражать против его намерения.

Остальное общество состояло из трех офицеров, англичанина, которого видали в Петербурге в самых разнообразных обществах, одного москвича-игрока, женатого толстяка, который был гораздо старше всех, но был однако на ты со всею этою молодежью.

Бутылка рома была принесена; раму, не пускавшую сесть на наружный откос окна, выламывали два лакея в штиблетах и кафтанах, видимо, торопившиеся и робевшие от советов и криков окружавших господ.

Анатоль с выпученной грудью, не переменяя выражения, не обходя и не прося посторониться, продавил своим сильным телом толпу у окна, подошел к раме и, обернув обе белые руки сюртуком, валявшимся на диване, ударил в стекла и пробил их.

– Ну вот, ваше сиятельство, – сказал лакей, – только мешаєте и ручки порежете.

– Пошел, дурак, а?.. – проговорил Анатоль, взялся за перекладки рамы и стал тянуть. Несколько рук взялись также за дело; потянули, и рама с треском выскочила из окна, так что тянувшие чуть не упали.

– Всю вон, а то подумают, что я держусь, – сказал Долохов.

– Послушай, – сказал Анатоль Пьеру. – Понимаешь? Англичанин хвастает... а?... национальность... а?... хорошо?..

– Хорошо, – сказал Пьер, с замиранием сердца глядя на Долохова, который, взяв в руки бутылку рома, подходил к окну, из которого виднелся свет неба и сливавшихся на нем утренней и вечерней зари. Долохов, засучив для чего-то рукава рубашки, с бутылкою рома в руке, ловко вскочил на окно.

– Слушать! – крикнул он, стоя на подоконнике и обращаясь в комнату.

Все замолчали.

– Я держу пари (он говорил по-французски, чтобы его понял англичанин, и говорил не слишком хорошо на этом языке) – держу пари на пятьдесят империалов... Хотите на сто? – прибавил он, обращаясь к англичанину.

– Нет, пятьдесят, – сказал англичанин.

– Хорошо, на пятьдесят империалов, – что я выпью бутылку рома всю, не отнимая от рта, выпью, сидя за окном, вот на этом месте (он нагнулся и показал покатым выступ стены за окном), – и не держась ни за что... Так?..

– Очень хорошо, – сказал англичанин.

Анатолий повернулся к англичанину и, взяв его за пуговицу фрака и сверху глядя на него (англичанин был мал ростом), начал по-английски толковать ему то, что уже было всем понятно.

– Постой! – закричал Долохов, стуча бутылкой по окну, чтоб обратить на себя внимание. – Постой, Курагин, слушайте. Если кто сделает то же, то я плачу сто имперIALов. Понимаете?

Англичанин кивнул головой, не давая никак разумеТЬ, намерен ли он или нет принять это новое пари. Анатолий не отпускал англичанина, и, несмотря на то, что тот, кивая, давал знать, что он все понял, Анатолий переводил ему слова Долохова по-английски. Молодой худощавый мальчик, лейб-гусар, проигравшийся в этот вечер, взлез на окно, высунулся и посмотрел вниз.

– Ууу... – проговорил он, глядя за окно на камень тротуара.

– Смирно! – закричал Долохов и дернул с окна офицера, который, запутавшись шпорами, неловко спрыгнул в комнату.

Поставив бутылку на подоконник, чтобы было удобно достать ее, Долохов, осторожно и тихо, полез в окно. Спустив ноги и распереВшись обеими руками в края окна, он примерился, уселся, отпустил руки, подвинулся направо, налево и достал бутылку. Анатолий принес две свечки и поставил их на подоконник, хотя было уже совсем светло. Спина Долохова в белой рубашке и курчавая голова его были освещены с обеих сторон. Все столпились у окна. Англичанин стоял впереди. Пьер улыбался и ничего не говорил. Старый москвич с испуганным и сердитым лицом вдруг продвинулся вперед и хотел схватить Долохова за рубашку.

– Господа, это глупости, он убьется до смерти, – сказал он.

Анатолий остановил его.

– Не трогай, ты его испугаешь, он убьется. А?.. Что тогда?.. А?..

Долохов обернулся, поправляясь и опять распереВшись руками. Лицо его было ни бледно, ни красно, но холодно и зло.

– Ежели кто ко мне еще будет соваться, – сказал он, редко пропуская слова сквозь стиснутые и тонкие губы, – я того сейчас спущу вот сюда. И так скользко, катишь вниз, а тут со вздорами суется... Ну!..

Сказав «ну», он повернулся опять, отпустил руки, взял бутылку и поднес ко рту, закинул назад голову и вскинул кверху свободную руку для перевеса. Один из лакеев, начавший подбирать стекла, остановился в согнутом положении, не спуская глаз с окна и спины Долохова. Анатолий стоял прямо, разинув глаза. Англичанин, выпятив вперед губы, смотрел сбоку. Старый москвич убежал в угол комнаты и лег на диван лицом к стене. Кто стоял с разинутым ртом, кто с поднятыми руками. Пьер закрыл лицо, и слабая улыбка, забывшись, осталась на его лице, хоть оно теперь выражало ужас и страх. Все молчали. Пьер отнял от глаз руки; Долохов сидел все в том же положении, только голова загнулась назад так, что курчавые волосы затылка прикасались к воротнику рубахи и рука с бутылкой поднималась все выше и выше, содрогаясь и делая усилие. Бутылка, видимо, опорожнялась и с тем вместе поднималась, загибая голову. «Что же это так долго?» – подумал Пьер. Ему казалось, что прошло больше получаса. Вдруг Долохов сделал движение назад спиной, и рука его нервно задрожала; этого содрогания было достаточно, чтобы сдвинуть все тело, сидевшее на покатоМ откосе. Он сдвинулся весь, еще сильнее задрожали, делая усилие, руки и голова его. Одна рука поднялась, чтобы схватиться за подоконник, но опять опустилась. Пьер опять закрыл глаза и сказал себе, что никогда уже не откроет их. Вдруг он почувствовал, что все вокруг зашевелилось. Он взглянул: Долохов стоял на подоконнике, лицо его было бледно и весело.

– Пуста!

Он кинул бутылку англичанину, который ловко поймал ее. Затем Долохов спрыгнул с окна. От него сильно пахло ромом.

– А? Каково? А?.. – спрашивал у всех Анатолий. – Штука славная!

– Черт вас возьми совсем! – говорил старый москвич. Англичанин, достав кошелек, отсчитывал деньги. Долохов хмурился и молчал. Пьер, в растерянном виде, ходил по комнате, улыбаясь и тяжело дыша.

– Господа, кто хочет со мною пари? Я то же сделаю, – вдруг заговорил он. – И пари не нужно, вот что. Вели дать бутылку.

Я сделаю... вели дать.

– Что ты? С ума сошел? Кто тебя пустит? У тебя и на лестнице голова кружится, – заговорили с разных сторон.

– Это подло, что мы оставили одного Долохова жертвовать жизнью. Я выпью, давай бутылку рому! – закричал Пьер, решительным и пьяным жестом ударяя по столу, и полез в окно. Его схватили за руки и отвели в другую комнату. Но Долохов не мог идти; его отнесли на диван и облили ему голову холодной водой.

Кто-то хотел ехать домой, кто-то предложил ехать не домой, а всем вместе куда-то еще: Пьер более всех настаивал на том, чтоб ехать. Надели плащи и поехали. Англичанин уехал домой, а Долохов полумертвым, бесчувственным сном заснул на диване у Анатолия.

XIII

Князь Василий исполнил обещание, данное им на вечере у Анны Павловны пожилой даме, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и, не в пример другим, он был переведен в гвардии Семеновский полк прапорщиком. Но адъютантом или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства воспитывался и годами жила ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10 августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.

У Ростовых были именинницы Натальи – мать и меньшая дочь. С утра, не переставая, подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с старшей дочерью и гостями, не переставшими сменять один другого, сидели в гостиной. Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо, изнуренная детьми, которых у ней было двенадцать человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принятия и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф – встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.

– Очень, очень вам благодарен, моя милая или мой милый (*ma chère* или *mon cher* он говорил всем без исключения, без малейших оттенков, как выше, так и ниже его стоявшим людям) за себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, приезжайте обедать. Вы меня обидите, мой милый. Душевно прошу вас от всего семейства, моя милая.

Эти слова, с одинаковым выражением на полном, веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами, говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался в гостиную к тому или той, которые еще были в гостиной; придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колени руки, значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел проводить, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, раздвигавших столы и развешивавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил:

– Ну, ну, Митенька, смотри, чтоб все было хорошо. Так, так, – говорил он, с удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол. – Да порядок в винах не забудь; главное – сервировка. То-то... – И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную.

– Марья Львовна Карагина с дочерью! – басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной.

Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа.

– Замучили меня эти визиты, – сказала она. – Ну, уж ее последнюю приму. Чопорна очень. Проси, – сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила: «Ну уж, добивайте».

Высокая, полная, с гордым видом дама, с миловидною дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную.

– Дорогая графиня, как давно... она должна была пролежать в постели, бедное дитя... на балу у Разумовских... и графиня Апраксина... я была так счастлива.

Послышались оживленные женские голоса, перебивая один другого и сливаясь с шумом платьев и придвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить: «Я в восхищении!» – и, опять зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать.

Разговор зашел о главной городской новости того времени, о болезни известного богача и красавца Екатерининского времени, старого графа Безухова, и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер.

– Я очень жалею бедного графа, – проговорила гостья, – здоровье его и так было плохо, а теперь это огорчение от сына. Это его убьет!

– Что такое? – спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз пятнадцать уже слышала причину огорчения графа Безухова.

– Вот нынешнее воспитанье! Еще за границей, – продолжала гостья, – этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда.

– Скажите! – сказала графиня.

– Он дурно выбирал свои знакомства, – вмешалась княгиня Анна Михайловна. – Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, бог знает что делали. И оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухова выслан в Москву. Анатоля Курагина – того отец как-то замаял. Он все остался в кавалергардском полку.

– Да что бишь они сделали? – спросила графиня.

– Это совершенные разбойники, особенно Долохов, – говорила гостья. – Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить, они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина с спиной к медведю, и пустили медведя в Мойку; медведь плавает, а квартальный на нем.

– Хороша, моя милая, фигура квартального, – закричал граф, помирая со смеху, с таким одобрительным видом, что он, несмотря на свои лета, не отказался бы принять участие в таком увеселении.

– Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?

Но дамы невольно смеялись и сами.

– Насилу спасли этого несчастного, – продолжала гостья. – И это сын князя Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется! – прибавила она. – А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот все воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась: у меня дочери.

– Однако это штука отличная, моя милая. Молодцы! – говорил граф, не удерживаясь от смеха.

Гостья чопорно и сердито посмотрела на него.

– Ах, моя милая Марья Львовна, – сказал он своим дурным французским выговором и языком, – юность должна перебеситься. Право! – прибавил он. – И мы с вашим мужем не святые были. Тоже бывали грешки.

И он подмигнул ей; гостья не отвечала.

– Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат? – спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. – Ведь у него только незаконные дети. Кажется... и Пьер незаконный.

Гостья махнула рукой.

– У него их двадцать незаконных, я думаю.

Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.

– Вот в чем дело, – сказала она значительно и тоже полупшепотом. – Репутация графа Кирилла Владимировича известна... Детям своим он счет потерял, но этот Пьер любимый был.

– Как он был хорош, – сказала графиня, – еще прошлого года! Красивее мужчины я не видывала.

– Теперь очень переменился, – сказала княгиня Анна Михайловна. – Так я хотела сказать, – продолжала она, – по жене прямой наследник всего имения князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю... Так что никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Лоррен приехал из Петербурга), кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери, и он крестил Борю, – прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.

– Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили, – сказала гостья.

– Да, но между нами, – сказала княгиня, – это предлог; он приехал собственно к князю Кириллу Владимировичу, узнав, что он так плох.

– Однако, моя милая, это славная штука, – сказал граф и, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням. – Хороша фигура была у квартального, я воображаю.

И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал тем звонким и басыстым смехом, колебавшим все его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие.

XIV

Наступило молчанье. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостя поднимется и уедет. Дочь гостии уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткою кисейною юбкой, и остановилась посредине комнаты. Казалось, она нечаянно, с нерассчитанного разбегу, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались четыре существа: два молодые человека, один студент с малиновым воротником, другой гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской блузе.

Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг вбежавшей девочки.

– А, вот она! – смеясь закричал он. – Именинница! Моя милая именинница!

– Милая, на все есть время, – сказала графиня дочери, очевидно, только для того, чтобы сказать что-нибудь, потому что сразу было видно, что дочь нисколько не боялась ее. – Ты ее все балуешь, – прибавила она мужу.

– Здравствуйте, милая, поздравляю вас, – сказала гостя. – Какое прелестное дитя! – прибавила она, лстиво обращаясь к матери.

Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими, открытыми плечиками, которые, сжимаясь, двигались в своем корсаже от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими быстрыми ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она, быстрая, грациозная и, видимо, не привыкшая к гостиней, подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся личико в кружевах материной мантильи и засмеялась.

– Мама! Мы Бориса... ха ха!.. женили на кукле... ха ха! да... ах... Мими... – проговорила она сквозь смех, – и... ах... он убежал.

И она вынула из-под юбки и показала большую куклу с черным, стертым носом, треснутою картонною головой и лайковым задом, ногами и руками, мотавшимися в коленках и локтях, но еще с свежеею карминою, изысканною улыбкой и дугообразными чернейшими бровями.

Графиня уже пятый год знала эту Мими, неизменного друга Наташи, подаренную крестным отцом.

– Видите?.. – И Наташа не могла больше говорить (ей все смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостя, против воли засмеялись. И в лакейской был слышен этот смех. Улыбаясь, переглянулись лакеи графини с приездом ливрейным лакеем, до сего мрачно сидевшим на стуле.

– Ну, поди, поди с своим уродом! – сказала мать, притворно-сердито отталкивая дочь. – Это моя меньшая, избалованная девочка, как видите, – обратилась она к госте.

Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери и взглянув на нее снизу, тихо, сквозь слезы смеха, проговорила:

– Мне стыдно, мам Гостя, принужденная любоваться семейной сценой, сочла нужным принять в ней какое-нибудь участие.

– Скажите, моя милая, – сказала она, обращаясь к Наташе, – как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?

Наташе не понравилась гостя и тон, с которым она снисходила до детского разговора.

– Нет, мадам, это не моя дочь, это кукла, – сказала она, смело улыбаясь, встала от матери и присела подле старшей сестры, показывая тем, что и она может вести себя как большая.

Между тем, все это молодое поколение: Борис – офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай – студент, старший сын графа, Соня – пятнадцатилетняя племянница графа и маленький Петруша – меньшой сын, все, как вдруг опущенные в холодную воду, разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и графине Апраксиной.

Два молодые человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша, с правильными тонкими чертами длинноватого лица. Спокойный и внимательный ум выражался в приятных серых глазах его, в углах же еще не обросших губ заметна была всегда насмешливая и немного хитрая улыбка, не только не вредившая, но придававшая как бы соль выражению его свежего, очевидно еще не тронутого ни пороком, ни горем красивого лица. Николай был невелик ростом, широкогруд и очень тонко и хорошо сложен. Открытое лицо, с русыми, мягкими выющимися волосами вокруг выпуклого, широкого лба, с восторженным взглядом полузакрытых карих выпуклых глаз, выражало всегда впечатление минуты. На верхней губе его уже показались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность. Оба молодые человека, поклонившись, сели в гостиной. Борис сделал это легко и свободно; Николай, напротив, почти детски-озлобленно. Николай поглядывал то на гостей, то на дверь, видимо, не желая скрывать, что ему тут скучно, и почти не отвечая на вопросы, которые ему делали гости. Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал степенно, шутливо, как эту Мими куклу он знал еще молодой девицей, с неиспорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарилась и как у ней по всему черепу треснула голова. Потом он спросил даму о ее здоровье. Все, что он говорил, было просто и прилично – ни умно, ни глупо, – но улыбка, игравшая на его губах, показывала, что он, говоря, не приписывает никакой цены своим словам, а говорит только из приличия.

– Мама, зачем он говорит как большой, я не хочу, – проговорила Наташа, подходя к матери и, как капризный ребенок, указывая на Бориса. Борис улыбнулся на нее.

– Тебе бы все с ним в куклы играть, – отвечала ей княгиня Анна Михайловна, трепля ее по голому плечу, которое нервно ежилось и пряталось в корсаж при прикосновении руки Анны Михайловны.

– Мне скучно, – прошептала Наташа. – Мама, няня просится в гости, можно ей? Можно ей? – повторила она, возвышая голос, с свойственной женщинам способностью быстрого сообщения для невинного обмана. – Можно, мама! – прокричала она, чуть удерживаясь от смеха и взглядывая на Бориса, присела гостям и вышла до двери, а за дверью побежала так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис задумался.

– Вы, кажется, тоже хотели ехать, тамап? Карета нужна? – сказал он, краснея и обращаясь к матери.

– Да, поди, поди, вели приготовить, – сказала она, улыбаясь. Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей; толстый мальчик в блузе сердито побежал за ними, как будто досадуя на какое-нибудь расстройство, происшедшее в его занятиях.

XV

Из молодежи, не считая старшей дочери графини, которая была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже как большая, и гости-барышни, в гостиной остались Николай и Соня-племянница, которая сидела с тою несколько притворною праздничной улыбкой, с какою и многие взрослые люди считают нужным присутствовать при чужих разговорах, и беспрестанно нежно взглядывала на своего кузена. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка, с мягким, оттененным длинными ресницами взглядом, густою черною косой, два раза обвивавшею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных, худощавых, но грациозных, мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она невольно напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным своею праздничною улыбкой выказывать участие к общему разговору, но, против воли, ее глаза из-под длинных густых ресниц смотрели на уезжающего в армию кузена с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим кузеном, как только они выберутся из этой гостиной.

– Да, моя милая, – сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая. – Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него, бросает и университет и меня старика, идет в военную службу. А уж ему место в архиве было готово и всё. Вот дружба-то?! – сказал граф вопросительно.

– Да, ведь война, говорят, объявлена, – сказала гостья.

– Давно говорят, – сказал граф все еще неопределенно. – Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Вот дружба-то! – повторил он. – Он идет в гусары.

Гостья, не зная, что сказать, покачала головой.

– Совсем не из дружбы, – отвечал Николай, весь вспыхнув и отговариваясь, как будто от постыдного на него поклепа. – Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе.

Он оглянулся на гостью-барышню: барышня смотрела на него с улыбкой, одобряя поступок молодого человека.

– Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой. Что делать? – сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.

Николай вдруг почему-то разгорячился.

– Я уж вам говорил, папенька, что ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Я знаю, что я никуда не гоюсь, кроме как в военную службу, я не дипломат, не умею скрывать того, что чувствую, – говорил он, слишком восторженно жестикулируя для своих слов и все поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и гостью-барышню.

Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовою заиграть и выказать всю свою кошачью натуру. Барышня улыбкой продолжала одобрять.

– А может быть, из меня что-нибудь и выйдет, – прибавил он, – а здесь я не гоюсь...

– Ну, ну, хорошо! – сказал старый граф. – Все горячится. Все Буонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры. Что ж, дай Бог, – прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостьи.

– Ну ступай, ступай, Николай, уж я вижу, ты в лес глядишь, – сказала графиня.

– Совсем нет, – отвечал сын; однако через минуту встал, поклонился и вышел из комнаты.

Соня посидела еще немного, улыбаясь всё притворнее и притворнее, и с той же улыбкой встала и вышла.

– Как секреты-то этой всей молодежи шиты белыми нитками! – сказала княгиня Анна Михайловна, указывая на Соню и смеясь. Гостья засмеялась.

– Да, – сказала графиня после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее. – Сколько страданий, сколько беспокойств, – продолжала она, – перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться. А и теперь, право, больше страха, чем радости. Все боишься, все боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек, и для мальчиков.

– Все от воспитания зависит, – сказала гостья.

– Да, ваша правда, – продолжала графиня. – До сих пор я была, слава Богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием, – говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. – Я знаю, что я всегда буду первою поверенной моих дочерей и что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (мальчику нельзя без этого), то все не так, как эти петербургские господа.

– Да, славные, славные ребята, – подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем, что все находил славным. – Вот подите! Захотел в гусары! Что вы хотите, моя милая!

– Какое милое существо ваша меньшая, – сказала гостья, оглядываясь с укором на дочь, как будто внушая этим взглядом своей дочери, что вот-де какую надо быть, чтобы нравиться, а не такую куклой, как ты. – Порох!

– Да, порох, – сказал граф.

– В меня пошла! И какой голос, талант! Хотя и моя дочь, а я правду скажу, певица будет, Саломони другая. Мы взяли итальянца ее учить.

– Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору.

– О нет, какой рано! – сказал граф.

– А как же наши матери выходили в двенадцать, тринадцать лет замуж? – добавила княгиня Анна Михайловна.

– Уж она и теперь влюблена в Бориса, какова? – сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса и, видимо, отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала: – Ну, вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей... Бог знает, что бы они делали потихоньку (графиня разумела, они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и все мне расскажет. Может быть, я балую ее, но, право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строго.

– Да, меня совсем иначе воспитывали, – сказала старшая красивая графиня Вера, улыбаясь. Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает, напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно. Старшая Вера была хороша, была умна, была хорошо воспитана. Голос у нее был приятный. То, что она сказала, было справедливо и уместно, но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.

– Всегда со старшими детьми мудрят, хотят сделать что-нибудь необыкновенное, – сказала гостья.

– Что греха таить, моя милая! Графинюшка мудрила с Верой, – сказал граф. – Ну да что ж! Все-таки славная вышла.

И он с тем чутьем, которое проницательнее ума, подошел к Вере, заметив, что ей неловко, и рукой приласкал ее.

– Виноват, мне надо распорядиться кое-чем. Вы посидите еще, – добавил он, кланяясь и собираясь выйти.

Гостья встала и уехали, обещавшись приехать к обеду.

– Что за манера! Ух, сидели, сидели! – сказала графиня, проводя гостей.

XVI

Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел. Когда слышались не тихие, но быстрые, приличные шаги молодого человека, тринадцатилетняя девочка быстро бросилась между кадок цветов и спряталась.

– Борис Николаич! – проговорила она басом, пугая его, и тотчас же засмеялась. Борис увидал ее, покачал головой и улыбнулся.

– Борис, подите сюда, – сказала она с значительным и хитрым видом. Он подошел к ней, пробираясь между кадками.

– Борис! Поцелуйте Мими, – сказала она, плутовски улыбаясь и выставя куклу.

– Отчего же не поцеловать? – сказал он, подвигаясь ближе и не спуская глаз с Наташи.

– Нет, скажите: не хочу.

Она отстранилась от него.

– Ну, можно сказать и не хочу. Что веселого целовать куклу?

– Не хотите? Ну, так подите сюда, – сказала она и потом глубже ушла в цветы и бросила куклу на кадку цветов. – Ближе, ближе! – шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.

– А меня хотите поцеловать? – прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волнения.

Борис покраснел.

– Какая вы смешная! – проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая. Чуть заметная насмешливость порхала еще на его губах, готовая исчезнуть.

Она вдруг вскочила на кадку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы.

– Ах, что я наделала! – закричала она, смеясь проскользнула между горшками на другую сторону цветов, резвые ножки быстро зашкрипели по направлению к детской. Борис побежал за ней и остановил ее.

– Наташа, – сказал он, – а тебе можно говорить ты?

Она кивнула головой.

– Я тебя люблю, – сказал он медленно. – Ты не ребенок. Наташа, сделай то, о чем я тебя попрошу.

– О чем ты меня попросишь?

– Пожалуйста, не будем делать того, что сейчас, еще четыре года.

Наташа остановилась, подумала.

– Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... – сказала она, считая по тоненьким пальчикам. – Хорошо! Так кончено? – И серьезная улыбка радости осветила ее оживленное, хотя и некрасивое лицо.

– Кончено! – сказал Борис.

– Навсегда? – говорила девочка. – До самой смерти?

И она, взяв его под руку, тихо пошла с ним рядом в детскую. Красивое, тонкое лицо Бориса покраснело, и в губах совершенно исчезло выражение насмешки. Он выпрямил грудь и счастливо, самодовольно вздохнул. Глаза его смотрели, казалось, далеко в будущее, за четыре года, в счастливый 1809 год.

Молодежь собралась опять в детскую, где больше всего она любила сидеть.

– Нет, не уйдешь! – закричал Николай, все делавший и говоривший страстно и порывисто, одною рукой хватая Бориса за рукав мундира, другою отнимая руку у сестры. – Ты обязан обвенчаться.

– Обязан, обязан! – закричали обе девочки.

– Я буду дьячок, Николаенька, – кричал Петруша. – Пожалуйста, я буду дьячок «Господи, помилуй!»

Казалось бы непонятным, что могли находить веселого молодые люди и девушки в венчании куклы с Борисом, но стоило только посмотреть на торжество и радость, изображенные на всех лицах, в то время, как кукла, убранная померанцевыми цветами и в белом платье, была поставлена на колышек лайковым задом, и Борис, на все соглашавшийся, подведен к ней, и как маленький Петруша, надев на себя юбку, воображал себя дьячком, – стоило только посмотреть на все это, чтоб, и не понимая этой радости, разделить ее.

Во время одевания невесты Николай и Борис были выгнаны для приличия из комнаты. Николай в волнении ходил по комнате и про себя ахал и пожимал плечами.

– Что с тобой? – спросил Борис.

Тот поглядел на своего друга и отчаянно махнул рукой.

– Ах, ты не знаешь, что со мной сейчас случилось! – сказал он, хватая себя за голову.

– Что? – спросил Борис насмешливо и спокойно.

– Ну, я уезжаю, а она... Нет, я не могу сказать!

– Да что же? – повторил Борис. – С Соней?

– Да. Знаешь что?

– Что?

– Ах, удивительно! Как ты думаешь? Обязан я после этого все сказать отцу?

– Да что?

– Знаешь, я сам не знаю, как это случилось, я поцеловал нынче Соню; я скверно поступил. Но что же мне делать? Я до безумия влюблен. А дурно это с моей стороны? Я знаю, что дурно... Как ты скажешь?

Борис улыбнулся.

– Что ты говоришь? Неужели? – спросил он с хитрым и насмешливым удивлением. – Так и поцеловал в губы? Когда?

– Да сейчас. Ты бы не сделал этого? А? Не сделал бы? Я дурно поступил?

– Ну, не знаю. Все зависит от того, какие ты имеешь намерения.

– Ну! Еще бы. Это верно. Я ей сказал. Как меня произведут в офицеры, так я женюсь на ней.

– Это удивительно, – повторил Борис. – Как ты, однако, решителен!

Николай, успокоившись, засмеялся.

– Я удивляюсь, отчего ты никогда не был влюблен и в тебя не влюблялись.

– Такой мой характер, – сказал Борис, краснея.

– Ну, да ты хитрый! Правду Вера говорит. – Николай вдруг принялся щекотать своего друга.

– А ты отчаянный. Правду же Вера говорит. – И Борис, боявшийся щекотки, отталкивал руки своего друга. – Ты уж что-нибудь сделаешь необыкновенное.

Оба, смеясь, вернулись к девочкам для совершения обряда венчания.

XVII

Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Кроме того, ей хотелось с глазу на глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.

– С тобой я буду совершенно откровенна, – сказала Анна Михайловна. – Уж мало нас осталось старых друзей. От этого я так и дорожу твоею дружбой.

Княгиня посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу.

– Вера, – сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно нелюбимой. – Как у вас ни на что такта нет. Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам или...

Красивая Вера улыбнулась, видимо, не чувствуя ни малейшего оскорбления, и прошла в свою комнату. Но, проходя мимо детской, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Соня сидела близко подле Николая, который с разгоряченным лицом читал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и молчали. Борис держал ее руку и выпустил при появлении Веры. Наташа взяла стоявший подле нее ящичек с перчатками и стала перебирать их. Вера улыбнулась. Николай с Соней посмотрели на нее, встали и вышли из комнаты.

– Наташа, – сказала Вера меньшей сестре, внимательно перебиравшей душистые перчатки. – Что это Николай с Соней от меня бегают? Что у них за секреты?

– Ну, что тебе за дело, Вера? – тоненьким голоском, заступнически проговорила Наташа, продолжая свою работу. Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, добра и ласкова от счастья.

– Очень глупо с их стороны, – сказала Вера тоном, который показался обиден Наташе.

– У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, – сказала она, разгорячаясь.

– Как глупо! А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься. Это нехорошо.

Борис поднялся и вежливо поклонился Вере.

– Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится. Я не могу жаловаться, – сказал он насмешливо.

Наташа не засмеялась и подняла голову.

– Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову), даже скучно, – сказала она. – За что она ко мне пристает?

И она обратилась к Вере.

– Ты это никогда не поймешь, – сказала она, – потому что ты никогда никого не любила, у тебя сердца нет, ты только мадам де Жанлис (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом сколько хочешь.

Это она проговорила скоро и вышла из детской.

Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, опять улыбнулась той же улыбкой, ничего не значащей, и, видимо, не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу. Глядя на свое красивое лицо, она стала, по-видимому, еще холоднее и спокойнее.

XVIII

В гостиной продолжался разговор.

– Ах, милая, – говорила графиня, – и в моей жизни не все розы. Разве я не вижу, что при таком образе жизни нашего состояния нам не надолго? И все это клуб, и его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и бог знает что. Да что обо мне говорить! Ну, как же ты это все устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Анет, как это ты, в твои годы, скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.

– Ах, душа моя! – отвечала княгиня Анна Михайловна. – Не дай бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без подпоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься, – продолжала она с некоторою гордостью. – Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого-нибудь из этих тузов, я пишу записку: «Княгиня такая-то желает видеть такого-то», – и еду сама на извозчике хоть два, хоть три раза, хоть четыре, до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне все равно, что бы обо мне ни думали.

– Ну, как же ты просила о Бореньке? – спросила графиня. – Ведь твой уж офицер гвардии, а Николай идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?

– Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на все согласился, доложил государю, – говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв всё унижение, через которое она прошла для достижения своей цели.

– Что, он постарел, князь Василий? – спросила графиня. – Я его не видала с наших театров у Румянцевых. Я думаю, забыл про меня. Он за мною волочился, – вспоминала графиня с улыбкой.

– Все такой же, – отвечала Анна Михайловна. – Князь любезен, рассыпается. Высокое положение нисколько не вскружило ему голову. «Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня, – он мне говорит, – приказывайте». Нет, он славный человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Натали, мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастья. А обстоятельства мои до того дурны, – продолжала Анна Михайловна, с грустью и понижая голос, – до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает все, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, буквально нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса. – Она вынула платок и заплакала. – Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении. Одна моя надежда теперь на князя Кирилла Владимировича Безухова. Ежели он не захочет поддержать своего крестника – ведь он крестил Борю – и назначить ему что-нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут, мне не на что будет обмундировать его.

Графиня прослезилась и молча соображала что-то.

– Часто думаю, может это и грех, – сказала княгиня, – а часто думаю: вот князь Кирилл Владимирович Безухов живет один... это огромное состояние... и для чего живет? Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить.

– Он, верно, оставит что-нибудь Борису, – сказала графиня.

– Бог знает. Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я все-таки поеду сейчас к нему, и с Борисом, и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, все равно, когда судьба сына зависит от этого. – Княгиня поднялась. – Теперь два часа. А в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить.

И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.

– Прощай, душа моя, – сказала она графине, которая провожала ее до двери. – Пожелай мне успеха, – прибавила она шепотом от сына.

– Вы к князю Кириллу Владимировичу, моя милая, – сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю. – Коли ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцевал. Зовите непременно... Ну, посмотрим, как-то отличится нынче Тарас. Говорят, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.

XIX

– Мой милый Борис, – сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по устланной соломой улице и въехала на широкий, усыпанный красным песком двор известного, с колоннами, дома графа Кирилла Владимировича Безухова. – Мой милый Борис – сказала мать, выпрастывая руку из-под старого салопы и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына, – оставь, пожалуйста, свою гордость. Граф Кирилл Владимирович все-таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, будь мил, как ты умеешь быть.

– Ежели бы я знал, что из этого выйдет что-нибудь, кроме унижения, – отвечал сын холодно. – Но я обещал вам и делаю это для вас. Только это в последний раз, маменька. Помните.

Несмотря на то, что чья-то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном, которые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между двумя рядами статуй в нишах, значительно посмотрев на старенький салоп, спросил, кого им угодно, княжон или графа, и узнав, что графа, сказал, что их сиятельству нынче хуже и их сиятельство никого не принимают.

– Мы можем уехать, – сказал сын по-французски, видимо, обрадованный этим известием.

– Друг мой! – сказала мать умоляющим голосом, опять дотрагиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокаивать или возбуждать его.

Борис, опасаясь сцены при швейцаре, замолчал с видом человека, решившегося испить чашу до дна. Он, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать.

– Голубчик, – нежным голосом сказала Анна Михайловна, обращаясь к швейцару, – я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен... я за тем и приехала... я родственница... Я не буду беспокоить, голубчик... А мне бы только надо увидеть князя Василия Сергеевича, ведь он здесь стоит. Доложи, пожалуйста.

Швейцар угрюмо дернул шнурок наверх и отвернулся.

– Княгиня Друбецкая к князю Василию Сергеевичу, – крикнул он сбежавшему сверху и из-под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке.

Мать расправила складки своего крашеного шелкового платья, посмотрелась в цельное венецианское зеркало в стене и бодро, в своих стоптанных башмаках, пошла вверх, по ковру лестницы.

– Милый, ты мне обещал, – обратилась она опять к сыну, прикосновением руки возбуждая его. Сын, опустив глаза, шел не весело.

Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покои, отведенные князю Василию.

В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка, и князь Василий в бархатной шубке, с одною звездой, по-домашнему, вышел, провожая красивого черноволосого мужчину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Лоррен.

– Итак, это верно, – говорил князь.

– Князь, человеку свойственно ошибаться, но... – отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором.

– Хорошо, хорошо....

Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и, молча, но с вопросительным видом подошел к ним. Сын с удивлением заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах княгини Анны Михайловны.

– Да, в каких грустных обстоятельствах пришлось нам свидеться, князь... Ну, что наш дорогой больной? – сказала она, не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда и обращаясь к князю как к лучшему другу, с которым можно разделить горе. Князь Василий вопросительно, до недоумения, посмотрел на нее, потом на Бориса. Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне и на ее вопрос отвечал движением головы и губ, которое означало самую плохую надежду для больного.

– Неужели? – воскликнула Анна Михайловна. – Ах, это ужасно! Страшно подумать... Это мой сын, – прибавила она, указывая на Бориса. – Он сам хотел благодарить вас.

Борис еще раз учтиво поклонился.

– Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас.

– Я рад, что мог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна, – сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, перед покровительствуемой Анною Михайловной, еще гораздо большую важность, чем в Петербурге, на вечере Анны Шерер.

– Старайтесь служить хорошо и быть достойным, – прибавил он, строго обращаясь к Борису. – Я рад... Вы здесь в отпуску? – продиктовал он своим бесстрастным тоном.

– Жду приказа, ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению, – отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и холодно, что князь пристально поглядел на него.

– Вы живете с матушкой?

– Я живу у графини Ростовой, – сказал Борис, опять холодно прибавив: – ваше сиятельство.

Он говорил «ваше сиятельство», видимо, не столько для того, чтобы польстить своему собеседнику, сколько для того, чтобы воздержаться от фамильярности.

– Это тот Илья Ростов, который женился на Натали З., – сказала Анна Михайловна.

– Знаю, знаю, – сказал князь Василий своим монотонным голосом и с свойственным петербуржцу презрением ко всему московскому.

– Я никогда не мог понять, как Натали решилась выйти замуж за этого грязного медведя. Совершенно глупая и смешная особа. К тому же, игрок, говорят, – сказал он, выказывая тем, что, при всем своем презрении к графу Ростову и ему подобным и при своих важных государственных делах, он не чуждался городских сплетен.

– Но очень добрый человек, князь, – заметила Анна Михайловна, трогательно улыбаясь, как будто и она знала, что граф Ростов заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика.

– Что говорят доктора? – спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем заплаканном лице.

– Мало надежды, – сказал князь.

– А мне так хотелось еще раз поблагодарить дядю за все его благодеяния мне и Боре. Это его крестник, – прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия.

Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу по завещанию графа Безухова. Она поспешила успокоить его.

– Ежели бы не моя истинная любовь и преданность дяде, – сказала она, с особенною уверенностью и небрежностью выговаривая это слово, – я знаю его характер, благородный, прямой, но, ведь одни княжны при нем... Они еще молоды... – Она наклонила голову и прибавила шепотом: – Исполнил ли он последний долг, князь? Как драгоценны эти последние минуты! Ведь хуже быть не может, его необходимо приготовить, ежели он так плох. Мы, женщины,

князь, – она мило улыбнулась, – всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать.

Князь, видимо, понял, и понял, как и на вечере Анны Шерер, что от Анны Михайловны трудно отделаться.

– Не было бы тяжело ему это свидание, милая Анна Михайловна, – сказал он. – Подождем до вечера, доктора обещали кризис.

– Но нельзя ждать, князь, в эти минуты. Подумайте, дело идет о спасении его души. Ах! Это ужасно, долг христианина. – Из внутренних комнат отворилась дверь, и вышла одна из княжон, племянниц графа, с красивым, угрюмым и холодным лицом и поразительно несоразмерною по ногам длинною талией.

Князь Василий обернулся к ней.

– Ну что он?

– Все то же. И как вы хотите, этот шум... – сказала княжна, оглядывая Анну Михайловну как незнакомую.

– Ах, милая, я не узнала вас, – со счастливою улыбкой сказала Анна Михайловна, легко иноходью подходя к племяннице графа. – Я приехала помогать вам ходить за дядюшкой. Воображаю, как вы настрадались, – прибавила она с участием, закатывая глаза.

Княжна даже не улыбнулась, попросила извинения и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василия сесть подле себя.

– Борис! – сказала она сыну и улыбнулась. – Я пройду к графу... к дяде, а ты поди покамест к Пьеру, мой друг, да не забудь передать ему приглашение от Ростовых. Они зовут его обедать. Я думаю, он не поедет? – обратилась она к князю.

– Напротив, – сказал князь, видимо, сделавшийся не в духе. – Я был бы рад, если бы вы меня избавили от этого молодого человека. Сидит тут. Граф ни разу не спросил про него.

Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Владимировичу.

XX

Борис, благодаря спокойствию и сдержанности своего характера, всегда умел находиться в трудных обстоятельствах. Теперь же это спокойствие и сдержанность усиливались еще тем облаком счастья, которое окружало его в нынешнее утро, в котором представлялись ему разные лица, и сквозь которое легче действовали на него невольные наблюдения его над приемами и характером его матери. Ему было тяжело положение просителя, в которое ставила его мать, но он чувствовал, что не виноват в том.

Пьер так и не успел выбрать себе карьеры в Петербурге и действительно был выслан в Москву за буйство. История, которую рассказывали у графа Ростова, была справедлива. Пьер присутствием своим участвовал в связывании квартального с медведем. Он приехал несколько дней тому назад и остановился, как всегда, в доме своего отца. Хотя он и предполагал, что история его уже известна в Москве и что дамы, окружающие его отца, всегда недоброжелательные к нему, воспользуются этим случаем, чтобы раздражить графа, он все-таки в день приезда пошел на половину отца. Войдя в гостиную, обычное место пребывания княжон, он поздоровался с дамами, сидевшими за пьльцами, с книгой, которую вслух читала одна из них. Их было три. Старшая, чистоплотная, с длинною талией, строгая девица, та самая, которая выходила к Анне Михайловне, читала; младшие, обе румяные и хорошенькие, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одной была родинка над губой, очень красившая ее, шили в пьльцах. Пьер был встречен как мертвец или зачумленный. Старшая княжна прервала чтение и молча смотрела на него испуганными глазами; младшая, без родинки, веселого и смешливого характера, нагнулась к пьльцам, чтобы скрыть улыбку, вызванную, вероятно, предстоявшею сценой, забавность которой она предвидела. Она притянула вниз шерстинку и нагнулась, будто разбирая узоры и едва удерживаясь от смеха.

– Здравствуйте, кузина, – сказал Пьер. – Вы меня не узнаете?

– Я слишком хорошо вас узнаю, слишком хорошо.

– Как здоровье графа? Могу я видеть его? – спросил Пьер неловко, как всегда, но не смущаясь.

– Граф страдает и физически и нравственно, и, кажется, вы позаботились о том, чтобы причинить ему побольше нравственных страданий.

– Могу я видеть графа? – повторил Пьер.

– Гм!.. Ежели вы хотите убить его, совсем убить, то можете видеть. Ольга, поди посмотри, готов ли бульон для дяденьки, скоро время, – прибавила она, показывая этим Пьеру, что они заняты, и заняты успокаиваньем его отца, тогда как он, очевидно, занят только его расстраиванием.

Ольга вышла. Пьер постоял, посмотрел на сестер и, поклонившись, сказал:

– Так я пойду к себе. Когда можно будет, вы мне скажете. – Он вышел, и звонкий, но не громкий смех сестры с родинкой послышался за ним.

На другой день приехал князь Василий и поместился в доме графа. Он призвал к себе Пьера и сказал ему:

– Мой милый, если вы будете вести себя здесь, как в Петербурге, вы кончите очень дурно; больше мне нечего вам сказать. Граф очень, очень болен, тебе совсем не надо его видеть.

С тех пор Пьера не тревожили, и он целый день провел один наверху, в своей комнате.

В то время как Борис вошел к нему, Пьер, которому везде было хорошо с своими мыслями, ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой, и строго взглядывая сверх очков, и затем вновь начиная свою прогулку, приговаривая неясные слова, пожимая плечами и разводя руками.

– Англии конец! – проговорил он, нахмуриваясь и указывая на кого-то пальцем. – Питт, как изменник нации и народному праву, приговаривается к... – Он не успел договорить приговора Питту, воображая себя в эту минуту самим Наполеоном и вместе с своим любимым героем уже совершив опасный переезд через Па-де-Кале и завоевав Лондон, как увидел входившего к нему молодого, стройного и красивого офицера. Он остановился. Пьер, редко видав Бориса, оставил его четырнадцатилетним мальчиком и решительно не помнил его; но, несмотря на то, с свойственною ему быстрою и радушною манерой взял его за руку и дружелюбно улыбнулся, выставив свои испорченные зубы.

– Вы меня помните? – сказал Борис. – Я с маман приехал к графу, но он, кажется, не совсем здоров.

– Да, кажется, нездоров. Его все тревожат, – отвечал Пьер, совсем не замечая того, что он этим как будто упрекал Бориса и его мать.

Он старался вспомнить, кто этот молодой человек; Борису же показался намек в словах Пьера.

Он вспыхнул и смело и насмешливо посмотрел на Пьера, как будто говоря: «мне стыдиться нечего». Пьер не находил, что бы сказать.

– Граф Ростов просил вас нынче приехать к нему обедать, – продолжал Борис после довольно долгого и неловкого для Пьера молчания.

– А! Граф Ростов! – радостно заговорил Пьер. – Так вы его сын, Илья. Я, можете себе представить, в первую минуту не узнал вас. Помните, как мы на Воробьевы горы ездили с мадам Жако.

– Вы ошибаетесь, – неторопливо, с смелою и несколько насмешливою улыбкой проговорил Борис. – Я Борис, сын княгини Анны Михайловны Друбецкой. Ростова отца зовут Ильей, а сына Николаем. И я мадам Жако никакой не знал.

Пьер замахал руками и головой, как будто комар или пчелы напали на него.

– Ах, ну что это! Я все спутал. В Москве столько родных! Вы Борис... да. Вот мы с вами и договорились. Ну, что вы думаете о булонской экспедиции? Ведь англичанам плохо придется, ежели только Наполеон переправится через канал. Я думаю, что экспедиция очень возможна. Только Вилльнёв бы не оплошал.

Борис ничего не знал о булонской экспедиции, он не читал газет и о Вилльнёве в первый раз слышал.

– Мы здесь в Москве больше заняты обедами и сплетнями, чем политикой, – сказал он своим спокойным насмешливым тоном. – Я ничего про это не знаю и не думаю. Москва занята сплетнями больше всего, – продолжал он. – Теперь говорят про вас и про графа.

Пьер улыбнулся своею доброю улыбкой, как будто боясь за своего собеседника, как бы он не сказал чего-нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться. Но Борис говорил отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьера.

– Москве больше делать нечего, как сплетничать, – продолжал он. – Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние, хотя, может быть, он переживет всех нас, чего я от души желаю.

– Да, это очень тяжело, – подхватил Пьер, – очень тяжело.

Пьер все боялся, что этот мальчик, офицер, нечаянно вдастся в неловкий для самого себя разговор.

– А вам должно казаться, – говорил Борис, краснея, но не изменяя голоса и позы, – как должно казаться, что все заняты только тем, чтобы получить что-нибудь от богача.

«Так и есть», – подумал Пьер.

– А я именно хочу сказать вам, чтоб избежать недоразумений, что вы очень ошибетесь, ежели причтете меня и мою мать к числу этих людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю, именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником и никогда ничего не буду просить и не приму от него, – кончил он, разгораясь все более и более.

Пьер долго не мог понять, но когда понял, вскочил с дивана, ухватил Бориса за руку снизу с свойственной ему быстротой и неловкостью и, покрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады.

– Послушайте... Вот это странно! Я разве... да и кто ж мог думать... Я очень знаю...

Но Борис опять перебил его.

– Я рад, что высказал все. Может быть, вам неприятно, вы меня извините, – сказал он, успокаивая Пьера вместо того, чтобы успокаиваться им, – но я надеюсь, что не оскорбил вас. Я имею правило говорить все прямо. Как же мне передать? Вы приедете обедать к Ростовым?

И Борис, видимо, свалив с себя тяжелую обязанность, сам выйдя из неловкого положения и поставив в него другого, сделался весел и свободен.

– Нет, послушайте, – сказал Пьер, успокаиваясь. – Вы удивительный человек. То, что вы сейчас сказали, очень хорошо, очень хорошо. Разумеется, вы меня не знаете, мы так давно не видались... детьми еще... Вы можете предполагать во мне... Я вас понимаю, очень понимаю. Я бы этого не сделал, у меня не достало бы духу, но это прекрасно. Я очень рад, что познакомился с вами. Странно, – прибавил он, помолчав и улыбаясь, – что вы во мне предполагали! – Он засмеялся. – Ну да что ж! Мы познакомимся с вами лучше. Пожалуйста. – Он пожал руку Борису.

– Вы знаете ли, я ни разу не был у графа. Он меня не звал. Мне его жалко, как человека... Но что же делать? – Борис улыбался весело и добродушно. – И вы думаете, что Наполеон успеет переправить армию? – спросил он.

Пьер понял, что Борис хотел переменить разговор и, соглашаясь с ним, начал излагать выгоды и невыгоды булонского предприятия.

Лакей пришел вызвать Бориса к княгине. Княгиня уезжала. Пьер обещался приехать обедать, затем, чтобы ближе сойтись с Борисом, крепко жал его руку, ласково глядя ему в глаза через очки... По уходе его Пьер долго еще ходил по комнате, уже не пронзая невидимого врага шпагой, а улыбаясь при воспоминании об этом милом, умном и твердом молодом человеке.

Как это бывает в первой молодости и особенно в одиноком положении, он почувствовал беспричинную нежность к этому молодому человеку и обещал себе непременно подружиться с ним.

Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок, и лицо ее было в слезах.

– Это ужасно! ужасно! – говорила она. – Но чего бы мне ни стоило, я исполню свой долг. Я приеду ночевать. Его нельзя так оставить. Каждая минута дорога. Я не понимаю, чего мешают княжны. Может, Бог поможет мне найти средство его приготовить!.. Прощайте, князь, да поддержит вас Бог...

– Прощайте, моя милая, – отвечал князь Василий, повертываясь от нее.

– Ах, он в ужасном положении, – сказала мать сыну, когда они опять сели в карету. – Он почти никого не узнает. Может быть, будет лучше.

– Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру, – спросил сын.

– Все скажет завешание, мой друг, от него и наша судьба зависит...

– Но почему вы думаете, что он оставит чего-нибудь нам?

– Ах, мой друг! Он так богат, а мы так бедны!

– Ну, это еще недостаточная причина, маменька.

– Ах, Боже мой! Боже мой! Как он жалок! – восклицала мать.

XXI

Когда Анна Михайловна уехала с сыном к князю Кириллу Владимировичу Безухову, графиня долго сидела одна, прикладывая платок к глазам. Наконец она позвонила.

– Что вы, милая, – сказала она сердито девушке, которая заставила себя ждать несколько минут. – Не хотите служить, что ли? Так я вам найду место.

Графиня была расстроена горем и унижительной бедностью своей подруги и поэтому была не в духе, что выражалось у нее всегда наименованием служанки «милая» и «вы».

– Виновата-с, – сказала горничная.

– Попросите ко мне графа.

Граф, переваливаясь, подошел к жене, с несколько виноватым видом, как и всегда.

– Ну, графинюшка! Какое сотэ на мадере из рябчиков будет.

Я попробовал; недаром я за Тараску тысячу рублей дал. Стоит!

Он сел подле жены, облокотив молодецки руки на колена... и взъерошивая седые волосы.

– Что прикажете, графинюшка?

– Вот что, мой друг, что это у тебя запачкано здесь? – сказала она, указывая на жилет. – Это сотэ, верно, – прибавила она, улыбаясь. – Вот что, граф, мне денег нужно.

Лицо ее стало печально.

– Ах, графинюшка!.. – И граф засуетился, доставая бумажник.

– Мне много надо, граф, мне пятьсот рублей надо. – И она, достав батистовый платок, терла им жилет мужа.

– Сейчас, сейчас. Эй, кто там? – крикнул он таким голосом, каким кричат только люди, уверенные, что те, кого они кличут, стремглав бросятся на их зов. – Послать ко мне Митеньку!

Митенька, тот дворянский сын, воспитанный у графа, который теперь заведовал всеми его делами, тихими шагами вошел в комнату.

– Вот что, мой милый, – сказал граф вошедшему почтительному молодому человеку. – Принеси ты мне... – Он задумался. – Да, 700 рублей, да. Да смотри, таких рваных и грязных, как тот раз, не приноси, а хороших, для графини.

– Да, Митенька, пожалуйста, чтоб чистенькие, – сказала графиня, грустно вздыхая.

– Ваше сиятельство, когда прикажете доставить? – сказал Митенька. – Извольте знать, что... Впрочем, не извольте беспокоиться, – прибавил он, заметив, как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинавшегося гнева. – Я было и запомнил... Сию минуту прикажете доставить?

– Да, да, то-то, принеси. Вот графине отдай.

– Экое золото у меня этот Митенька, – прибавил граф, улыбаясь, когда молодой человек вышел. – Нет того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Все можно.

– Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете! – сказала графиня. – А эти деньги мне очень нужны.

– Вы, графинюшка, мотовка известная, – проговорил граф и, поцеловав у жены руку, ушел опять в кабинет.

Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухова, у графини лежали уже деньги, все новенькими бумажками, под платком на столике, и Анна Михайловна заметила, что графиня чем-то растрожена и имела печальный вид.

– Ну что, мой друг? – спросила графиня.

– Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя, он так плох, так плох; я минутку побыла и двух слов не сказала...

– Анет, ради бога, не откажи мне, – сказала вдруг графиня, краснея, что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из-под платка деньги.

Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную минуту ловко обнять графиню.

– Вот Борису от меня на шитье мундира...

Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о том, что они дружны, и о том, что они добры, и о том, что они, подруги молодости, заняты таким низким предметом, деньгами, и о том, что молодость их прошла... Но слезы обеих были приятны...

XXII

Графиня Ростова с дочерью и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей-мужчин в кабинет, предлагая им свою охотничью коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал, не приехала ли? Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе ужасным драгуном, даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямою ума и откровенною простотою обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты; тем не менее все без исключения уважали и боялись ее.

В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом, и о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на оттоманке, между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а, наклоня голову то на один бок, то на другой, с видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он ставил между собой.

Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый как самый модный молодой человек; он сидел с ногами на оттоманке, с видом домашнего человека, и, с боку запуская себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился. Это был известный московский остряк, старый холостяк Шиншин, двоюродный брат графини, изболтавшийся франт, как про него говорили в московских гостиных. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый, гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губками слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта, казалось, преимущественно для выпускания колец предназначенного. Этот был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал вместе в полк и которым Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее женихом. Берг от разговора про войну перешел к своим делам, развивая свои будущие служебные планы и, видимо, был очень горд тем, что разговаривал с таким знаменитым человеком как Шиншин. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бостон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось стравить двух бойких и говорливых собеседников. Хотя Берг и не был говорливый собеседник, граф подметил на губах Шиншина насмешливую улыбку, как будто говорившую: «Посмотрите, как я обработаю этого офицера». И граф, без всякого дурного чувства к Бергу, утешался отыскиванием остроумия в каждом слове Шиншина.

– Ну, как же, батюшка, почтеннейший Альфонс Карлович, – говорил Шиншин, посмеиваясь и соединяя, в чем и состояла особенность его речи, самые тривиальные русские выражения с изысканными французскими фразами. – Вы рассчитываете иметь доход с казны, с роты доходец получать хотите?

– Нет-с, Петр Николаевич, а только желаю доказать, что в кавалерии выгод гораздо меньше против пехоты. Вот теперь сообразите, Петр Николаевич, мое положение.

Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного, он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем-нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием.

– Сообразите мое положение, Петр Николаевич, будь я в кавалерии, я бы получал не более двухсот рублей в треть, даже и в чине поручика, а теперь я получаю двести тридцать, – говорил он с радостною, приятною, эгоистичною улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как

будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей.

Граф оглянулся на Шиншина, ожидая, скоро ли начнется остроумие, но Шиншин молчал, только посмеиваясь. Граф тоже посмеивался.

– Кроме того, Петр Николаевич, перейдя в гвардию, я на виду, – продолжал Берг, – и вакансии в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом сами сообразите, как я мог устроиться из двухсот тридцати рублей.

Он помолчал и, торжествуя, продолжал:

– А я откладываю и еще отцу посылаю. – И он пустил колечко.

– Баланс установлен. Немец на обухе молотит хлебец, как говорит пословица, – перекладывая янтарь в другую сторону рта, сказал Шиншин и подмигнул графу.

Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, рассказал длинно, подробно и отчетливо, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить, и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Слушатели все ждали вместе с графом, скоро ли будет смешное, но смешное не приходило. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая все это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, было так мило, степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей, и даже Шиншин перестал смеяться над ним. Он показался ему не стоящим разговора.

– Ну, батюшка, вы и в пехоте, и в кавалерии, везде пойдете в ход, это я вам предрекаю. Обещаю вам блестящую карьеру, – сказал он, трепля его по плечу и спуская ноги с оттоманки. Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную.

XXIII

Было то время перед званым обедом, когда собравшиеся парадные гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать, чтобы показать, что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол. Хозяйева поглядывают на дверь и изредка переглядываются между собой. Гости по этим взглядам стараются догадаться, кого или чего еще ждут: важного опоздавшего родственника или кушанья, которое, по дошедшим из кухни сведениям, еще не поспело. В лакейской в это время лакеи еще не успели завести разговор о господах, потому что им приходится беспрестанно вставать для приезжающих.

В кухне повара в это время ожесточаются и с мрачными лицами, в белых колпаках и фартуках, переходят от плиты к вертелу и шкафу и покрикивают на поварят, которые в эти минуты становятся особенно робки. Кучера у подъезда устанавливают цуги и, усевшись покойно на козлах, переговариваются или забегают покурить трубочки в кучерскую.

Пьер приехал и неловко сидел посредине гостиной, на первом попавшемся кресле, загородив всем дорогу. Графиня хотела заставить его говорить, но он наивно смотрел в очки вокруг себя, как бы отыскивая кого-то и односложно отвечая на все вопросы графини. Он был стеснителен, и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого, толстого и смирного человека, недоумевая, как мог такой увалень и скромник сделать такую штуку с квартальным.

– Вы недавно приехали? – спрашивала у него графиня.

– Да, мадам, – отвечал он, оглядываясь.

– Вы не видели моего мужа?

– Нет, мадам, – он улыбнулся совсем некстати.

– Вы, кажется, недавно были в Париже? Я думаю, очень интересно.

– Очень интересно, – отвечал он, рассуждая сам с собою, где до сих пор может быть этот Борис, который ему так понравился.

Графиня переглянулась с княгиней Анной Михайловной. Анна Михайловна поняла, что ее просят занять этого молодого человека, и, подсев к нему, начала говорить об отце; но, так же как и графине, он отвечал ей только односложными словами. Гости были все заняты между собой. Со всех сторон слышался шум платьев. Разумовские... Это было восхитительно... Вы очень добры... Графиня Апраксина... Апраксина...

Графиня встала, чтоб выйти в залу.

– Марья Дмитриевна? – послышался ее голос из залы.

– Она самая, – отвечал грубый женский голос, и вслед за тем вошла в комнату Марья Дмитриевна, приехавшая с дочерью.

Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Марья Дмитриевна остановилась в дверях и с высоты своего тучного тела, высоко держа красивую, с седыми буклями, пятидесятилетнюю голову, оглядела гостей. Марья Дмитриевна всегда говорила по-русски.

– Имениннице дорогой с детками, – сказала она своим громким, густым, подавляющим все другие звуки голосом. – Сама бы приехала утром с визитом, да не люблю по утрам шляться. Ты что, старый греховодник, – обратилась она к графу, целовавшему ее руку, – чай, скучаешь в Москве? Собак гонять негде? Да что, батюшка, делать, вот как эти пташки подрастут... – Она указывала на дочь, совсем не похожую на мать, недурную барышню, которая казалась на вид столь же нежною и сладкою, сколько мать казалась грубою. – Хочешь не хочешь, надо им женихов искать. Вон они, твои-то, уж и все на возрасте, – она указала на вошедших в гостиную Наташу и Соню.

Когда приехала Марья Дмитриевна, все собрались в гостиную, ожидая выхода к столу. Вошел Борис, и Пьер тотчас же присоединился к нему.

– Ну что, казак мой? (Марья Дмитриевна казаком называла Наташу.) Какой козырь девка стала! – говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке без страха и весело. – Знаю, что повеса девка, сечь бы ее надо, а люблю.

Она достала из огромного ридикюля (ридикюль Марьи Дмитриевны был всем известен обилием и разнообразием содержания) яхонтовые сережки грушками и, отдав их имениннице с сиявшей и разрумившейся Наташе, тотчас отвернулась от нее и, заметив Пьера, обратилась к нему:

– Э, э! любезный! поди-ка сюда, – сказала она притворно тихим и тонким голосом, как говорят собаке, которую хотят пробрать. – Поди-ка, любезный...

Пьер подошел испуганно, но школьнически наивно и весело глядя на нее через очки, как будто он сам собирался не менее других позабавиться в предстоящей потехе.

– Подойди, подойди, любезный! Я и отцу-то твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе-то и Бог велит.

Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие.

– Хорош, нечего сказать! Хорош мальчик!.. Отец на одре лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно! Лучше бы на войну шел.

Она отвернулась и подала руку графу, который едва удерживался от смеха. Пьер только подмигнул Борису.

– Ну что ж, к столу, я чай, пора, – сказала Марья Дмитриевна.

Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной, потом графиня, которую повел гусарский полковник, нужный человек, с которым Николай должен был догонять полк; Анна Михайловна с Шиншиным. Берг подал руку Вере. Жюли, вечно улыбающаяся и закатывающая глаза, дочь Марьи Дмитриевны, с самого приезда своего не отпускавшая от себя Николая, пошла с ним к столу. За ними шли еще другие пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех по одиночке дети, гувернеры и гувернантки. Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говора гостей, тихих шагов седых, почтенных официантов.

На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева княгиня Анна Михайловна и другие гости. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом; с другой стороны – дети, гувернеры и гувернантки. Граф из-за хрусталя, бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену, хотя, собственно, ему виднелся только высокий чепец ее с голубыми лентами, и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня также, из-за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своей краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетанье; на мужском все громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил все далее и далее краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям. Берг тихо рассказывал неприятно улыбавшейся Вере о преимуществах военного времени в финансовом отношении; Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшей против него.

Пьер, невольно усвоивший себе петербургское презрение к москвичам, поверял собственными наблюдениями все слышанное им о нравах московского общества. Все было так: чопорность (блюда подавались по чинам и возрасту), ограниченность интересов (политикой никто не был занят) и хлебосольство, которому он, однако, отдавал должную справедливость. Начиная от двух супов, из которых он выбрал черепеховый, и кулебяки, и до сотэ из рябчи-

ков, столь понравившегося графу, он не пропускал ни одного блюда, ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфеткою бутылке таинственно высовывал из-за плеча соседа и тихо приговаривал: «дрей-мандера, венгерское, рейнвейн» и т. д. Он подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных, с вензелем графа, рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, все с более и более приятным видом поглядывая на гостей. Наташа, сидевшая против него, глядела на Бориса, как глядят девочки тринадцати лет на мальчика, с которым они утром в первый раз поцеловались и в которого они влюблены, и изредка улыбалась. Пьер беспрестанно взглядывал на нее и подпадал под взгляд и улыбку, назначенные Борису.

– Странно, – говорил он шепотом Борису, – она нехороша, меньшая Ростова, вот эта маленькая, черненькая, а какое милое лицо! Не правда ли?

– Старшая лучше, – отвечал Борис, чуть заметно улыбаясь.

– Нет, можете себе вообразить? Все черты неправильные, а чудо как мила.

И Пьер все смотрел на нее. Борис выражал удивление такому странному вкусу Пьера. Николай сидел далеко от Сони подле Жюли Ахросимовой, отвечая на ее ласковые восторженные речи, а между тем взглядом постоянно успокаивал кузину, давая ей чувствовать, что, где бы ни был, на другом конце стола или на другом конце света, мысли его будут всегда принадлежать ей одной. Соня улыбалась парадно, но, видимо, уже мучилась ревностью, то бледнела, то краснела и всеми силами прислушивалась к тому, что говорили между собою Николай и Жюли. Наташа сидела, к своему огорчению, с детьми, между маленьким братом и толстою гувернанткой. Гувернантка беспокойно оглядывалась и что-то беспрестанно шептала своей питомице и тотчас взглядывала на гостей, ожидая одобрения. Гувернер-немец старался запомнить все роды кушаний, десертов и вин с тем, чтобы описать все подробно в письме к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий с завернутою в салфетку бутылкой обносил его. Немец хмурился, старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался потому, что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтоб утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности...

XXIV

Наташе, видимо, не сиделось на месте, она ущипнула брата, подмигнула на гувернантку, отчего толстый Петруша лопнул было со смеха, и вдруг перегнулась всем телом через стол к Борису и разлила, к ужасу гувернантки, на чистейшую скатерть квас из стакана, и, не обращая внимания на замечания, требовала внимания к себе. Борис нагнулся, Пьер тоже прислушивался, ожидая, что скажет эта маленькая, черненькая, которая, несмотря на свои неправильные черты, как ему казалось, по странной, ему одному свойственной фантазии, нравилась ему больше всех, кого он видел за этим столом.

– Борис, что, пирожное будет? – спросила Наташа, с значительным видом поднимая брови.

– Не знаю, право.

– Нет, очень мила! – улыбаясь, прошептал Пьер, как будто кто с ним об этом упорно спорил.

Наташа заметила тотчас впечатление, произведенное ею на Пьера, и весело улыбнулась ему, и даже кивнула ему слегка головой и тряхнула кудрями, глядя на него. Он мог принять это как хотел. Пьер слова еще не сказал с Наташей, но одною этою взаимною улыбкой они уже сказали себе, что нравятся друг другу.

На мужском конце стола, между тем, разговор все более и более оживлялся. Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему.

– И зачем нас нелегкая несет воевать с Бонапартом, – сказал Шиншин. – Он уже сбил спесь с Австрии. Боюсь, не пришел бы теперь наш черед.

Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно, служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина.

– А затѣм, милостивый государь, – сказал он, хотя и правильно говоря по-русски, но выговаривая э вместо е и ь вместо ъ, – затѣм, что император это знает. Он в манифеста сказал, что не может смотрѣть равнодушно на опасности, угрожающие России, и что безопасность империи, достоинство ее и святость союзов... – сказал он, почему-то особенно налегая на слово «союзов», как будто в этом была вся сущность дела. И с свойственною ему непогрешимою официальною памятью, он повторил вступительные слова манифеста: – «...и желание, единственную и неперемнную цель государя составляющие: водворить в Европе на прочных основаниях мир – решение его двинуть ныне часть войска за границу и сделать к достижению намерения сего новые усилия». Вот зачѣм, мылостивый государь, – заключил он, назидательно выпивая стакан лафита и оглядываясь на графа за поощрением.

– Знаете пословицу: «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена», – сказал Шиншин, разваливаясь и гримасничая. – Это к нам, кстати, удивительно идет. Уж на что Суворов, и того расколотили вдребезги, а где у нас Суворовы теперь? Я вас спрашиваю, – беспрестанно перескакивая с русского на французский язык и ломаясь, говорил остряк.

– Мы должны и драться до послѣднѣ капли крови, – сказал полковник, с жестом не совсем хорошего тона ударяя по столу, – и умѣррѣт за своѣго императора, и тогда всѣй будѣт хорошо. А рассуждать как мо-о-о-жно, – особенно вытянул голос на слове «можно», – как мо-о-о-о-жно мен-ше, – докончил он, опять обращаясь к графу. – Так мы, старые гусары, судим, вот и все. А вы как судитѣ, молодой чѣловѣк и молодой гусар, – прибавил он, обращаясь к Николаю, который, услышав, что дело шло о войне, оставил свою собеседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника.

– Совершенно с вами согласен, – отвечал Николай, весь вспыхнув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он

подвергался великой опасности, – я убежден, что русские должны умирать или побеждать, – сказал он, сам чувствуя, так же как и другие, после того, как слово уж было сказано, что оно было слишком восторженно и напыщенно для настоящего случая и потому неловко, но красивая и впечатлительная молодость его открытого лица делала выходку его и для других скорее милою, чем смешною.

– Прекрасно, прекрасно, то что вы сказали, – сказала Жюли, вздыхая и пряча глаза под веки от глубины чувства. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, за ушами и до шеи и плеч, в то время как Николай говорил. Пьер прислушался к речам полковника и одобрительно закивал головой, хотя он и считал, по своим рассуждениям, патриотизм глупостью. Он невольно сочувствовал всякому искреннему слову.

– Вот это славно. Очень хорошо, очень хорошо, – сказал он.

– Настоящий гусар, молодой человек, – крикнул полковник, ударив опять по столу.

– О чем вы там шумите? – вдруг послышался через стол басистый голос Марьи Дмитриевны. – Что ты по столу стучишь? – обратилась она к гусару, всегда высказывая то, что другие только думали, – на кого ты горячишься? Верно, думаешь, что тут французы перед тобой?

– Я правду говару, – улыбаясь, сказал гусар.

– Всё о войне, – через стол прокричал граф. – Ведь у меня сын идет, Марья Дмитриевна, сын идет.

– А у меня четыре сына в армии, а я не тужу. На все воля Божья, и на печи лежа умрешь, и в сражении Бог помилует, – прозвучал без всякого усилия, с того конца стола, густой голос Марьи Дмитриевны.

– Это так.

И разговор опять сосредоточился – дамский на своем конце стола, мужской на своем.

– А вот не спросишь, – говорил маленький брат Наташи, – а вот не спросишь!

– Спрошу, – отвечала Наташа.

Лицо ее вдруг разгорелось, выражая отчаянную и веселую решимость, ту решимость, которая бывает у прапорщика, бросающегося на приступ. Она привстала и с блестящими глазами и сдержанною улыбкой обратилась к матери:

– Мам – Что тебе? – спросила графиня испуганно, но, по лицу дочери увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукою, делая угрожающий и отрицательный жест головой.

Разговор притих.

– Мам Графиня хотела хмуриться, но невольно улыбка любви к своему любимому детищу уже ожила на ее губах. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем.

– Казак! – проговорила она с угрозой.

Большинство гостей смотрели на старших, не зная, как следует принять эту выходку.

– Вот я тебя! – сказала графиня.

– Мам Соня и толстый Петя прятались от смеха.

– Вот и спросила, – прошептала Наташа маленькому брату, не сводя глаз с матери и не изменяя наивного выражения лица.

– Мороженое! только тебе не дадут, – сказала Марья Дмитриевна.

Наташа видела, что бояться нечего, и потому не побоялась и Марьи Дмитриевны.

– Марья Дмитриевна, какое мороженое? Я сливочное не люблю.

– Морковное.

– Нет, какое? Марья Дмитриевна, какое? – почти кричала она. – Я хочу знать.

Марья Дмитриевна и графиня засмеялись, за ними все гости. Все смеялись не ответу Марьи Дмитриевны, но непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевавшей так обращаться с Марьей Дмитриевной.

– Ваша сестра прелестна, – сказала Жюли.

Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасное. Перед мороженым подали шампанское. Опять заиграла музыка, граф поцеловался с графинюшкою, и гости, вставая, поздравляли графиню, через стол чокались с графом, детьми и друг с другом. Жюли чокалась с Николаем, давая ему взглядами понять, что это чоканье имело какое-то еще другое важное значение. Опять забежали официанты, загремели стулья, и в том же порядке, но с более красными лицами гости вернулись в гостиную и в кабинет графа.

XXV

Раздвинули бостонные столы, разбрелись партиями, и гости графа разместились в двух гостиных, диванной и библиотеке. Марья Дмитриевна бранила Шиншина, с которым играла.

– Вот ругать всех умеешь, а догадаться не мог, что тебе с дамы кёровой червей идти надо.

Граф, распустив карты веером, с трудом удерживался от привычки послеобеденного сна и всему смеялся. Молодежь, подстрекаемая графиней, собралась около клавикорд и арфы. Жюли первая, по просьбе всех, сыграла на арфе пьеску с вариациями и вместе с другими девицами стала просить Наташу и Николая, известных своею музыкальностью, спеть что-нибудь. Наташа, к которой обратились прежде других, не соглашалась и не отказывалась.

– Пойдите, я попробую, – сказала она, отойдя к другой стороне клавикорд и пробуя свой голос, взяла вполголоса несколько чистых грудных нот, которые неожиданно действовали на всех. Все замолкли, пока звуки замирали вверху высокой просторной комнаты.

– Можно, можно, – сказала она, весело встряхивая кудрями, которые валились ей на глаза.

Пьер, очень раскрасневшийся после обеда, подошел к ней. Ему хотелось видеть ее поближе и посмотреть, как она будет говорить с ним.

– Отчего же нельзя? – спросил он так просто, как будто они были сто лет знакомы.

– Иногда бывают дни, что голос нехорош, – сказала она и отошла к клавикордам.

– А нынче?

– Отличный, – сказала она, обращаясь к нему с таким восторгом, как будто хвалила чей-нибудь чужой голос.

Пьер, довольный тем, что видел, как она говорит, подошел к Борису, который почти так же нравился ему в этот день, как и Наташа.

– Что за милый ребенок маленькая, черненькая, – сказал он. – Даром, что нехороша.

Пьер находился, после скуки уединения в большом доме отца, в том счастливом состоянии молодого человека, когда всех любишь и видишь во всех людях одно хорошее. Еще за обедом он невольно с петербургской высоты презирал московскую публику. А теперь уже казалось, что здесь только, в Москве, и умеют жить люди, и ему уж думалось, как бы хорошо было, ежели бы он мог каждый день бывать в этом доме, слушать, как поет и как говорит эта маленькая, черненькая, и смотреть на нее.

– Николай, – сказала Наташа, подходя к клавикордам, – что будем петь?

– Хоть «Ключ», – отвечал Николай. Ему, видимо, становилось несносно от пристававшей к нему Жюли, которая думала, что он должен быть слишком счастлив ее вниманием.

– Ну, давайте, давайте. Борис, идите сюда, – закричала Наташа. – А где же Соня? – Она оглянулась и, увидав, что ее друга нет в комнате, побежала за ней.

«Ключ», как называли его у Ростовых, был старинный квартуор, которому научил их музыкальный учитель Димлер. Этот «Ключ» пели обыкновенно Наташа, Соня, Николай и Борис, который, хотя и не имел собственного таланта и голоса, но обладал верным слухом и с свойственною ему во всем точностью и спокойствием мог выучить партию и твердо держал ее. Пока Наташа ушла, стали просить Николая, чтоб он спел что-нибудь один. Он отказывался почти неучтиво и мрачно. Жюли Ахросимова, улыбаясь, подошла к нему.

– Зачем вы напускаете на себя мрачность? – спросила она. – Хотя, я понимаю, для музыки и особенно для пения нужно расположение. У меня то же самое. Бывают минуты...

Николай поморщился и пошел к клавикордам. Прежде чем сесть, он заметил, что Сони нет в комнате, и хотел уйти.

– Николай, не заставляй себя просить, это смешно, – сказала графиня.

– Я не заставляю себя просить, маман, – отвечал Николай и порывистым движением стукнул крышкой, открывая клавикорды, и сел.

Он подумал на минутку и начал песенку Кавелина:

На что, с любезной расставаясь,
На что «прости» ей говорить,
Как будто с жизнью разлучаясь,
Счастливым больше уж не быть?
Не лучше ль просто «до свиданья»,
«До новых радостей» сказать,
И в сих мечтах очарованья
Себя и время забывать?

Голос его был ни хорош, ни дурен, и пел он лениво, как бы исполняя скучную обязанность, но, несмотря на то, в комнате все замолкло, барышни покачивали головами и вздыхали, а Пьер, покрыв свои зубы нежною и слабою улыбкой, которая была особенно смешна на его толстом, полнокровном лице, так и остался до конца песни.

Жюли, закрыв глаза, вздохнула на всю комнату.

Николай пел с тем чувством меры, которого у него так недоставало в жизни и которое в искусстве не приобретается никаким изучением. Он пел с тою легкостью и свободой, которая показывала, что он не трудился, а пел, как говорил. Только когда он запел, он высказался не ребенком, каким он казался в жизни, а человеком, в котором уже шевелились страсти.

XXVI

Между тем, Наташа, вбежав в Сонину комнату, не нашла там свою подругу, пробежала в детскую, – и там ее не было. Наташа поняла, что Соня была в коридоре на сундуке. Сундук в коридоре был место печалей женского молодого поколения дома Ростовых. Действительно, Соня в своем воздушном розовом платье, приминая его, лежала ничком на грязной, полосатой няниной перине на сундуке, закрыв лицо пальчиками, навзрыд плакала, подрагивая своими оголенными коричневатыми плечиками. Лицо Наташи, именинное, оживленное целый день и еще более сиявшее теперь при приготовлении к пению, которое всегда производило на нее возбуждающее действие, вдруг померкло. Глаза ее остановились, потом содрогнулась ее широкая, для пения рожденная шея, углы губ опустились, глаза в одно мгновение увлажнились.

– Соня! что ты?.. Что, что с тобой? У-у-у!.. – И Наташа, распустив свой крупный рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня плакала. Соня хотела поднять голову, хотела отвечать, но не могла и еще больше спряталась. Наташа плакала, присев на синей перине и обнимая друга. Собравшись с силами, Соня приподнялась, начала утирать слезы и рассказывать.

– Николай... едет через неделю, его... бумага... вышла... он сам мне сказал... Да я бы все не плакала... (она показала бумажку, которую держала в руке: то были стихи, написанные Николаем), я бы все не плакала, но ты не можешь... никто не может понять... какая у него душа...

И она опять принялась плакать о том, что душа его была так хороша. Соня чувствовала, что никто, кроме нее, не мог понять всей прелести и высоты, благородства и нежности, – всех лучших добродетелей этой души. И она действительно видела все эти несравненные добродетели, во-первых, потому, что Николай, сам того не зная, показывался ей только одною, самую лучшею, стороною, во-вторых, потому, что она всеми силами души желала видеть в нем одно прекрасное.

– Тебе хорошо... я не завидую... я тебя люблю, и Бориса тоже, – говорила она, собравшись немного с силами, – он милый... для вас нет препятствий. А Николай мне кузен... надобно... сам митрополит... и то нельзя. И потом, ежели маменька (Соня графиню и считала и называла матерью)... она скажет, что я порчу карьеру Николая, у меня нет сердца, что я неблагодарная, а право... вот ей-богу (она перекрестилась)... я так люблю и ее, и всех вас, только Вера одна... За что? Что я ей сделала? Я так благодарна вам, что рада бы всем пожертвовать, да мне нечем...

Соня не могла больше говорить и опять спрятала голову в руках и перине. Наташа начала успокаиваться, но по лицу ее видно было, что она понимала всю важность горя своего друга.

– Соня! – сказала она вдруг, как будто догадавшись о настоящей причине огорчения кузины. – Верно, Вера с тобой говорила после обеда? Да?

– Да, эти стихи сам Николай написал, а я списала еще другие; она и нашла их у меня на столе и сказала, что покажет их маменьке, и еще говорила, что я неблагодарная, что маменька никогда не позволит ему жениться на мне. А он женится на Жюли. Ты видишь, как она на него смотрит, Наташа? За что?

И опять заплакала она горче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокаивать.

– Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николаем в диванной, помнишь, после ужина? Ведь мы все решили, как будет. Я уже не помню как, но помнишь, как было все хорошо и все можно. Вот дяденьки Шиншина брат женат же на двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь,

я ему все сказала. А он такой умный и такой хороший, – говорила Наташа, так же как и Соня в отношении к Николаю, и по тем же причинам чувствуя, что никто в мире, кроме нее, не мог знать всех сокровищ, заключающихся в Борисе... – Ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька Соня. – И она целовала ее, смеясь. – Вера злая, Бог с ней. А все будет хорошо, и маменьке она не скажет, Николай сам скажет.

И она целовала ее в голову. Соня приподнялась, и котенок оживился, глазки заблестали, и он готов был, казалось, вот-вот взмахнуть хвостом, вспрыгнуть на мягкие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично.

– Ты думаешь? Право? Ей-богу? – сказала она, быстро оправляя платье и прическу.

– Право, ей-богу! – отвечала Наташа, оправляя своему другу под косой выбившуюся прядь жестких волос, и они обе засмеялись. – Ну, пойдем петь «Ключ».

– Пойдем.

Соня, отряхнув пух и спрятав стихи за пазуху к шейке с выступавшими костями груди, легкими, веселыми шагами, с раскрасневшимся лицом побежала вместе с Наташей по коридору в гостиную. Николай допевал еще последний куплет песни. Он увидел Соню, глаза его оживились, на открытом для звуков рте готова была улыбка, голос стал сильнее и выразительнее, и он спел последний куплет еще лучше прежних.

В приятну ночь, при лунном свете,

– пел он, глядя на Соню, и они понимали, как много все это значило – и слова, и улыбка, и песня, хотя, собственно, все это ничего не значило.

В приятну ночь, при лунном свете,
Представить счастливо себе,
Что некто есть еще на свете,
Кто думает и о тебе!
Что и она, рукой прекрасной
По арфе золотой бродя,
Своей гармониею страстной
Зовет к себе, зовет тебя!
Еще день-два, и рай настанет..
Но, ах! твой друг не доживет!

Он пел для одной Сони, но всем стало весело и добро на сердце, когда он кончил и с увлажненными глазами встал от клавикорд.

– Прелестно! Обворожительно! – слышалось со всех сторон.

– Этот романс, – сказала Жюли со вздохом, подходя к нему, – восторг. Я все поняла.

Во время пения Марья Дмитриевна встала из-за стола и остановилась в дверях, чтобы слушать.

– Ай да Николай, – сказала она. – В душу лезет. Поди, поцелуй меня.

XXVII

Наташа шепнула Николаю, что Вера уже расстроила Соню, украв у нее стихи и наговорив ей неприятностей. Николай покраснел и тотчас решительным шагом подошел к Вере и шепотом стал говорить ей, что ежели она посмеет сделать что-нибудь неприятное Соне, то он будет ее врагом на всю жизнь. Вера отговаривалась, извинялась и замечала так же шепотом, что неприлично говорить об этом, указывая на гостей, которые, заметив, что между братом и сестрой была какая-то неприятность, удалились от них.

– Мне все равно, я при всех скажу, – говорил почти громко Николай, – что у тебя дурное сердце и что ты находишь удовольствие вредить людям.

Окончив это дело, Николай, еще дрожа от волнения, отошел в дальний угол комнаты, где стояли Борис с Пьером. Он сел подле них с решительным и мрачным видом человека, который теперь на все готов и к которому лучше не обращаться ни с каким вопросом. Пьер, однако, со всегдашней рассеянностью не замечая его состояния души и находясь в самом благодушном состоянии, которое было усилено еще приятным впечатлением музыки, которая всегда сильно действовала на него, несмотря на то, что он никогда не мог взять не фальшивя ни одной нотки, Пьер обратился к нему:

– Как вы славно спели! – сказал он.

Николай не отвечал.

– Вы каким чином поступаете в полк? – спросил он, чтобы спросить еще что-нибудь.

Николай, не соображая, что Пьер был несколько не виноват в неприятности, сделанной ему Верой, и в надоевшем ему приставании Жюли, зло посмотрел на него.

– Мне предлагали хлопотать о зачислении меня камер-юнкером, и я отказался, потому что хочу быть обязанным только своему достоинству положением своим в войске, а не сесть на голову людям, достойнее меня. Я иду юнкером, – прибавил он, очень довольный тем, что сразу умел показать новому знакомому свое благородство и употребить военное выражение: «сесть на голову», – которое он только что подслушал у полковника.

– Да, мы всегда спорим с ним, – сказал Борис. – Я не нахожу ничего несправедливого поступить прямо майором. Ежели ты не достоин этого чина, – тебя выключат, а достоин, то ты скорее можешь быть полезен.

– Ну, да ты дипломат, – сказал Николай. – Я считаю это злоупотреблением для себя и не хочу начинать злоупотреблением.

– Вы совершенно, совершенно правы, – сказал Пьер. – Что это, музыканты? Танцевать будут? – робко спросил он, услышав звуки настраивания. – Я ни одному танцу никогда не мог выучиться.

– Да, кажется, маменька велела, – отвечал Николай, весело оглядывая комнату и мысленно выбирая свою между дамами. Но в это время он увидел кружок, собравшийся около Берга, и вернувшееся к нему хорошее расположение духа опять заменилось мрачным ожесточением.

– Ах, прочтите, господин Берг, вы так хорошо читаете, это, должно быть, очень поэтично, – говорила Жюли Бергу, который держал в руке бумажку. Николай увидел, что это были его стихи, которые Вера, из мщенья, показала всему обществу. Стихи были следующие:

Прощание гусара

Не растравляй меня разлукой,
Не мучь гусара своего;
Гусару сабля будь порукой
Желанья счастья твоего.

Мне нужно мужество для боя,
Еще нужней для слез твоих,
Хочу стяжать венец героя,
Чтобы сложить у ног твоих.

Написав стихи и передав их предмету своей страсти, Николай думал, что они прекрасны, теперь же он вдруг находил, что они чрезвычайно дурны и, главное, смешны. Увидав Берга со своими стихами в руках, Николай остановился, ноздри его раздулись, лицо побагровело, и он, сжав губы, быстрыми шагами и с решимостью размахивая руками, направился к кружку. Борис, вовремя увидав намерение, перерезал ему дорогу и взял за руку.

– Послушай, это будет глупо.

– Оставь меня, я его проучу, – порываясь вперед, говорил Николай.

– Он не виноват, пусти меня.

Борис подошел к Бергу.

– Эти стихи написаны не для всех, – сказал он, протягивая руку. – Позвольте!

– Ах, это не для всех! Мне Вера Ильинична дала.

– Это так прекрасно, тут есть что-то очень мелодичное, – сказала Жюли Ахросимова.

– «Прощанье гусара», – сказал Берг и имел несчастье улыбнуться.

Николай уже стоял перед ним, держа близко к нему свое лицо и глядя на него разгоряченными глазами, которые, казалось, насквозь пронзали несчастного Берга.

– Вам смешно? Что вам смешно?

– Нет, я ничего не знал, что это вы...

– Какое вам дело, я или не я? Читать чужие письма не благородно.

– Извините, – сказал Берг, краснея и испуганно.

– Николай, – сказал Борис, – мсье Берг не читал чужих писем... Ты теперь наделаешь глупостей. Послушай, – сказал он, кладя в карман стихи, – поди сюда, мне нужно с тобой поговорить.

Берг тотчас же отошел к дамам, а Борис с Николаем вышли в диванную. Соня выбежала за ними.

Через полчаса вся молодежь уже танцевала экосез, и Николай, переговорив в диванной с Соней, был такой же веселый и ловкий танцор, как и всегда, сам удивлялся своей вспыльчивости и досадовал на свою неприличную выходку.

Всем было очень весело. И Пьеру, путавшему фигуры и танцевавшему под руководством Бориса экосез, и Наташе, почему-то помиравшей со смеху каждый раз, как она взглядывала на него, чем он был очень доволен.

– Какой он смешной и какой славный, – сказала она сначала Борису, а потом прямо в глаза заговорила самому Пьеру, наивно снизу глядя на него.

В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом, оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как-то по-балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецко-хитрою улыбкой, и как только дотанцевали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладони музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке.

– Семен! Данилу Купора знаешь?

Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости (Данила Купор была собственно одна фигура англеза.)

– Смотрите на папу, – закричала на всю залу Наташа, пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.

Действительно, все, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивал ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и все более и более распускаяшеюся улыбкой на своем круглом лице приготавлил зрителей к тому, что будет. Как только слышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой – женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.

– Батюшка-то наш! Орел! – проговорила няня из одной двери.

Граф танцевал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцевать. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине), только одно строгое, но красивое лицо ее танцевало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздрагивающем носе. Но зато, ежели граф, все более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких вывертов и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна, малейшим усердием при движении плеч или округлении рук, в поворотах и притоптываньях, производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась все более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимания и даже не старались о том. Все было занято графом и Марьей Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтобы смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорей. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках носясь вокруг Марьи Дмитриевны, и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукой среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцующие остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками.

– Вот как в наше время танцевали, моя милая, – сказал граф.

– Ай да Данила Купор! – тяжело и продолжительно выпуская дух, сказала Марья Дмитриевна.

XXVIII

В то время как у Ростовых танцевали в зале шестой англез под звуки от усталости фальшививших музыкантов и усталые официанты и повара готовили ужин, рассуждая между собой, как могут господа так беспрестанно кушать, – только что откушали чай, опять ужинать, – в это время с графом Безуховым сделался шестой уже удар, доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет, больному дана была глухая исповедь и причастие, делали приготовления для соборования, и в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами, толпились, скрываясь от подъезжавших экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с одним из представителей века Екатерины. Говорили, что больной кого-то искал глазами и требовал. И за Пьером, и за Анной Михайловной был послан лакей верхом.

Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, шел с ним рядом, и все видели, как главнокомандующий пожал ему руку и что-то несколько раз тихо повторил ему.

Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинул высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Все видели, что ему тяжело, и никто не подходил к нему. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно поспешными шагами, оглядываясь кругом не то сердитыми, не то испуганными глазами, пошел через длинный коридор на заднюю половину дома к старшей княжне.

Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шепотом говорили между собой и замолкали каждый раз, и полными вопроса и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто-нибудь выходил из нее или входил в нее.

– Предел человеческий, – говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его. – И предел положен, его же не преjdeши.

– Я думаю, не поздно ли соборовать? – прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения.

– Таинство, матушка, великое, – отвечало духовное лицо, проводя руками по лысине, по которой пролегалo несколько прядей зачесанных полуседых волос.

– Это кто же? Сам главнокомандующий был? – спрашивали в другом конце комнаты. – Какой молодежавый...

– А седьмой десяток! Что, говорят, граф-то не узнает уж? Хотели соборовать.

– Я одного знал, семь раз соборовался.

Вторая княжна только вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле Лоррена, молодого, знаменитого доктора, француза, который в грациозной позе сидел подле портрета Екатерины, облокотившись на стол.

– Прекрасная, – говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, – погода, княжна, и потом, Москва так похожа на деревню.

– Не правда ли? – сказала княжна, вздыхая. – Так можно ему пить?

Лоррен задумался.

– Он принял лекарство?

– Да.

Доктор посмотрел на брегет.

– Возьмите стакан отварной воды и положите щепотку (он своими тонкими пальцами показал, что значит щепотку) кремортартари.

– Не пило слушай, – говорил немец-доктор адъютанту, – чтопи с третий ударом живь остался.

– А какой свежий был мужчина! – говорил адъютант. – И кому пойдет это богатство? – прибавил он шепотом.

– Охотники найдутся, – улыбаясь, отвечал немец.

Все опять оглянулись на дверь: она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лорреном, понесла больному. Немец-доктор подошел к Лоррену.

– Еще, может, дотянется до завтрашнего утра? – спросил немец, дурно выговаривая по-французски.

Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.

– Сегодня ночью, не позже, – сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что он ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел.

Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны. В комнате было полутемно, только две лампадки горели перед образами и хорошо пахло куреньем и цветами. Вся комната была уставлена мелкою мебелью шифоньерок, шкафчиков, столиков. Из-за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла.

– Ах, это вы, кузен.

Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже теперь, были так необыкновенно гладки, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком.

– Что, случилось что-нибудь? – спросила она. – Я уже так напугалась.

– Ничего, все то же, я только пришел договорить с тобой, Катишь, о деле, – проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. – Как ты нагрела, однако, – сказал он, – ну, садись сюда, поговорим.

– Я думала, не случилось ли что? – сказала княжна и с своим неизменным, спокойным и строгим каменным приличием села против князя, готовясь слушать.

– Ну что, моя милая? – сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке книзу.

Видно было, что это «ну что» относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба.

Княжна, с своею несообразно длинною по ногам, сухой и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами.

Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости.

– А мне-то, – сказал он, – ты думаешь, легче? Я заморен, как почтовая лошадь, а все-таки мне надо с тобой поговорить, Катишь, и очень серьезно.

Князь Василий замолчал, и щеки его начали нервно дергаться то на одну, то на другую сторону, придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостиных. Глаза его тоже были не такие, как всегда: то они смотрели нагло-шутливо, то испуганно оглядывались.

Княжна, своими сухими, худыми руками придерживая на коленях собачку, внимательно смотрела в глаза князю Василию; но видно было, что она не прервет молчание вопросом, хотя бы ей пришлось молчать до утра. У княжны было одно из тех лиц, которых выражение остается не изменяемо и не зависимо от движений, выражающихся на лице собеседника.

– Вот видите ли, моя милая княжна и кузина Екатерина Семеновна, – продолжал князь Василий, видимо, не без внутренней борьбы приступая к продолжению своей речи, – в такие

минуты, как теперь, обо всем надо подумать. Надо подумать о будущем, о вас... я вас всех люблю как своих детей, ты это знаешь.

Княжна так же тускло и неподвижно смотрела на него.

– Наконец, надо подумать и о моем семействе, – сердито отталкивая от себя столик и не глядя на нее, продолжал князь Василий, – ты знаешь, Катишь, что вы, три сестры Мамонтовы, да еще моя жена, мы одни прямые наследники графа. Знаю, знаю, как тебе тяжело говорить и думать о таких вещах. И мне не легче, но, друг мой, мне шестой десяток, надо быть ко всему готовым. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером и что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе?

Князь Василий вопросительно посмотрел на княжну, но не мог понять, соображала ли она то, что он ей сказал, или просто смотрела на него.

– Я об одном не перестаю молить Бога, – отвечала она, – чтоб он помиловал его и дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту...

– Да, это так, – нетерпеливо продолжал князь Василий, потирая лысину и опять с злобой придвигая к себе отодвинутый столик, – но, наконец... наконец, дело в том, ты сама знаешь, что прошлой зимой граф написал завещание, по которому он все имение, помимо прямых наследников и нас, отдавал Пьеру.

– Мало ли он писал завещаний! – спокойно сказала княжна. – Но Пьеру он не мог завещать. Пьер незаконный.

– Милая моя, – сказал вдруг князь Василий, прижав к себе столик, оживившись и начав говорить скорее, – но что ежели письмо написано государю, и граф просит усыновить Пьера? Понимаешь, по заслугам графа его просьба будет уважена...

Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают, что знают дело больше, чем те, с кем они разговаривают.

– Я тебе скажу больше, – продолжал князь Василий, хватая ее за руку, – письмо было написано, хотя и не отослано, и государь знал о нем. Вопрос только в том, уничтожено ли оно или нет. Ежели нет, то как скоро все кончится, – князь Василий вздохнул, давая этим понять, что он разумел под словами «все кончится», – и вскроют бумаги графа, завещание с письмом будет передано государю, и просьба его наверно будет уважена. Пьер, как законный сын, получит все.

– А наша часть? – спросила княжна, иронически улыбаясь так, как будто все, но только не это могло случиться.

– Но, моя дорогая Катишь, это ясно, как день. Он один тогда законный наследник всего, а вы не получите ни вот этого. Ты должна знать, моя милая, были ли написаны завещание и письмо и уничтожены ли они. И ежели почему-нибудь они забыты, то ты должна знать, где они, и найти их, потому что...

– Этого только недоставало! – перебила его княжна, сардонически улыбаясь и не изменяя выражения глаз. – Я женщина, по-вашему, мы все глупы, но я настолько знаю, что незаконный сын не может наследовать... Un bâtard, – прибавила она, полагая этим переводом окончательно показать князю его неосновательность.

– Как ты не понимаешь, наконец, Катишь! Ты так умна: как ты не понимаешь, ежели граф написал письмо государю, в котором просит его признать сына законным, стало быть, Пьер уже будет не Пьер, а граф Безухов, и тогда он по завещанию получит все? И ежели завещание с письмом не уничтожены, то тебе, кроме утешения, что ты была добродетельна, и всего, что отсюда вытекает, ничего не останется. Это верно.

– Я знаю, что завещание написано, но знаю тоже, что оно недействительно, и вы меня, кажется, считаете за совершенную дуру, – сказала княжна с тем выражением, с которым говорят женщины, полагаящие, что они сказали нечто остроумное и оскорбительное.

– Милая ты моя княжна, Екатерина Семеновна, – нетерпеливо заговорил князь Василий. – Я пришел к тебе не за тем, чтобы пикироваться с тобой, а за тем, чтобы как с родной, хорошою, доброю, истинною родной, поговорить о твоих же интересах. Я тебе говорю десятый раз, что ежели письмо к государю и завещание в пользу Пьера есть в бумагах графа, то ты, моя голубушка, и с сестрами, не наследница. Ежели ты мне не веришь, то поверь людям знающим: я сейчас говорил с Дмитрием Онуфриевичем (это был адвокат дома), он то же сказал.

Видимо, что-то вдруг изменилось в мыслях княжны: тонкие губы побледнели (глаза остались те же), и голос, в то время как она заговорила, прорывался такими раскатами, каких она, видимо, сама не ожидала.

– Это было бы хорошо, – сказала она. – Я ничего не хотела и не хочу. – Она сбросила свою собачку с колен и оправила складки платья. – Вот благодарность, вот признательность людям, которые всем пожертвовали для него, – сказала она. – Прекрасно! Очень хорошо! Мне ничего не нужно, князь.

– Да, но ты не одна, у тебя сестры, – ответил князь Василий.

Но княжна не слушала его.

– Да, я это давно знала, но забыла, что, кроме низости, обмана, зависти, интриг, кроме неблагодарности, самой черной неблагодарности, я ничего не могла ожидать в этом доме...

– Знаешь ли ты или не знаешь, где это завещание? – спрашивал князь Василий, еще с большим, чем прежде, передергиванием щек.

– Да, я была глупа, я еще верила в людей, и любила их, и жертвовала собой. А успевают только те, которые подлы и гадки.

Я знаю, чьи это интриги.

Княжна хотела встать, но князь удержал ее за руку. Княжна имела вид человека, вдруг разочаровавшегося во всем человеческом роде; она злобно смотрела на своего собеседника.

– Еще есть время, мой друг. Ты помни, Катишь, что все это сделалось нечаянно, в минуту гнева, болезни, и потом забыто. Наша обязанность, моя милая, исправить его ошибку, облегчить его последние минуты тем, чтобы не допустить его сделать этой несправедливости, не дать ему умереть в мыслях, что он сделал несчастными тех людей...

– Тех людей, которые всем пожертвовали для него, – подхватила княжна, порываясь опять встать, но князь не пустил ее, – чего он никогда не умел ценить. Нет, кузен, – прибавила она со вздохом, – я буду помнить, что на этом свете нельзя ждать награды, что на этом свете нет ни чести, ни справедливости. На этом свете надо быть хитрою и злою.

– Ну, послушай, успокойся; я знаю твое прекрасное сердце.

– Нет, у меня злое сердце.

– Я знаю твое сердце, – повторил князь, – ценю твою дружбу, и желал бы, чтобы ты была обо мне того же мнения. Успокойся и поговорим толком, пока есть время – может, сутки, может, час; расскажи мне все, что ты знаешь о завещании, и, главное, где оно, ты должна знать. Мы теперь же возьмем его и покажем графу. Он, верно, забыл уже про него и захочет его уничтожить. Ты понимаешь, что мое одно желание – свято исполнить его волю; я за тем только и приехал сюда. Я здесь только за тем, чтобы помогать ему и вам.

– Теперь я все поняла. Я знаю, чьи это интриги. Я знаю, – говорила княжна.

– Не в том дело, моя душа.

– Это ваша протезе, ваша милая княгиня Друбецкая, Анна Михайловна, которую я не желала бы иметь горничной, эту мерзкую, гадкую женщину.

– Не будем терять время.

– Ах, не говорите! Прошлую зиму она втерлась сюда и такие гадости, такие скверности наговорила графу на всех нас, особенно на Софью, я повторять не могу, – что граф сделался болен и две недели не хотел нас видеть. В это время, я знаю, что он написал эту гадкую, мерзкую бумагу, но я думала, что эта бумага ничего не значит.

– В этом-то и дело, – отчего же ты прежде ничего не сказала мне?

– В мозаиковом портфеле, который он держит под подушкой! Теперь я знаю, – сказала княжна, не отвечая. – Да, ежели есть за мной грех, большой грех, то это ненависть к этой мерзавке, – почти прокричала княжна, совершенно изменившись. – И зачем она втирается сюда? Но я ей выскажу все, все. Придет время.

– Ради бога, не забудьте в вашем оправданном гневе, – сказал князь Василий, улыбаясь слегка, – что тысячеглазая зависть следит за нами. Мы должны действовать, но...

XXIX

В то время как такие разговоры происходили в приемной и княжниной комнатах, карета с Пьером (за которым было послано) и с Анной Михайловной (которая нашла нужным ехать с ним) въезжала во двор графа Безухова. Когда колеса кареты мягко зазвучали по соломе, насланной под окнами, Анна Михайловна, обратившись к своему спутнику с утешительными словами, убедилась в том, что он спит в углу кареты, и разбудила его. Очнувшись, Пьер за Анною Михайловной вышел из кареты и тут только подумал о том свидании с умирающим отцом, которое его ожидало. Он заметил, что они подъехали не к парадному, а к заднему подъезду. В то время как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон еще несколько таких же людей. Но ни Анна Михайловна, ни лакей, ни кучер, которые не могли не видеть этих людей, не обратили на них внимания. «Стало быть, это так нужно», – решил сам с собой Пьер и прошел за Анной Михайловной. Анна Михайловна поспешными шагами шла вверх по слабо освещенной, узкой, каменной лестнице, подзывая отстававшего за ней Пьера, который, хотя и не понимал, для чего ему надо было вообще идти к графу, и еще меньше, зачем ему надо было идти по задней лестнице, судя по уверенности и поспешности Анны Михайловны решил про себя, что это было необходимо нужно. На половине лестницы чуть не сбили их с ног какие-то люди с ведрами, которые, стуча сапогами, сбегали им навстречу. Люди эти прижались к стене, чтобы пропустить Пьера с Анной Михайловной, и не показали ни малейшего удивления при виде их.

– Здесь на половину княжон? – спросила Анна Михайловна одного из них.

– Здесь, – отвечал лакей смелым, громким голосом, как будто теперь все уже было можно, – дверь налево, матушка.

– Может быть, граф не звал меня, – сказал Пьер, в то время как он вышел на площадку, – я пошел бы к себе.

Анна Михайловна остановилась, чтобы поравняться с Пьером.

– Ах, мой друг, – сказала она с тем же жестом, как утром с сыном, дотрагиваясь до его руки, – поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчиной.

– Право, я пойду, – спросил Пьер, ласково через очки глядя на Анну Михайловну.

– Забудьте, друг мой, в чем были против вас не правы. Вспомните, что это ваш отец... может быть, в агонии. – Она вздохнула. – Я тотчас полюбила вас как сына. Доверьтесь мне, Пьер. Я не забуду ваших интересов.

Пьер ничего не понимал; опять ему еще сильнее показалось, что все это так должно быть, и он покорно последовал за Анной Михайловной, уже отворявшей дверь.

Дверь выходила в переднюю заднего хода. В углу сидел старик-слуга княжон и вязал чулок. Пьер никогда не был на этой половине, даже не предполагал существования таких покоев. Анна Михайловна спросила у обгонявшей их, с графином на подносе, девушки, назвав ее милой и голубушкой, о здоровье княжон и повлекла Пьера дальше по каменному коридору. Из коридора первая дверь налево вела в жилые комнаты княжон. Горничная с графином второпях (как и все делалось второпях в эту минуту в этом доме) не затворила двери, и Пьер с Анною Михайловной, проходя мимо, невольно заглянули в ту комнату, где, разговаривая, сидели близко друг от друга старшая княжна с князем Василием. Увидав проходящих, князь Василий сделал нетерпеливое движение и откинулся назад, княжна вскочила и отчаянным жестом изо всей силы хлопнула дверью, затворяя ее.

Жест этот был так непохож на всегдашнее спокойствие княжны, страх, выразившийся на лице князя Василия, был так несвойствен его важности, что Пьер, остановившись, вопросительно через очки посмотрел на свою руководительницу. Анна Михайловна не выразила удив-

ления, она только слегка улыбнулась и вздохнула, как будто показывая, что всего этого она ожидала.

– Будьте мужчиной, друг мой, я же стану блюсти ваши интересы, – сказала она в ответ на его взгляд и еще скорее пошла по коридору.

Пьер не понимал, в чем дело, и еще меньше, что значило блюсти интересы, но он понимал, что все это так должно было быть. Коридором они вышли в полуосвещенную залу, приоткрывавшую к приемной графа. Это была одна из тех холодных и роскошных комнат, которые знал Пьер с парадного крыльца. Но и в этой комнате, посередине, стояла пустая ванна и была пролита вода по ковру. Навстречу им вышел на цыпочках, не обращая на них внимания, слуга и причетник с кадилом. Они вошли в знакомую Пьеру приемную с двумя итальянскими окнами, выходом в зимний сад, с большим бюстом и во весь рост портретом Екатерины. Все те же люди, почти в тех же положениях, сидели, перешептываясь, в приемной. Все, смолкнув, оглянулись на вошедшую Анну Михайловну, с ее исплаканным, бледным лицом, и на толстого, большого Пьера, который, опустив голову, покорно следовал за нею.

На лице Анны Михайловны выразилось сознание того, что решительная минута наступила, и она, с приемами деловой петербургской дамы, вошла в комнату, не отпуская от себя Пьера, еще смелее, чем утром. Она, видимо, чувствовала, что, ведя за собою того, кого желал видеть умирающий, прием ее был обеспечен. Быстрым взглядом оглядев всех бывших в комнате и заметив графова духовника, она, не то что согнувшись, но сделавшись вдруг меньше ростом, мелко иноходью подплыла к духовнику и почтительно приняла благословение одного, потом другого духовного лица.

– Славу Богу, что успела, – сказала она духовному лицу, – мы все, родные, так боялись. Вот этот молодой человек – сын графа, – прибавила она тише. – Ужасная минута!

Проговорив эти слова, она подошла к доктору.

– Милый доктор, – сказала она ему, – этот молодой человек – сын графа... Есть ли надежда?

Доктор молча, быстрым движением, возвел кверху глаза и плечи. Анна Михайловна точно таким же движением возвела плечи и глаза, почти закрыв их, вздохнула и отошла от доктора к Пьеру. Она особенно почтительно и нежно-грустно обратилась к Пьеру:

– Доверьтесь Его милосердию, – сказала она ему и, указав ему диванчик, чтобы сесть подождать ее, сама неслышно направилась к двери, на которую все смотрели, и вслед за чуть слышным звуком этой двери скрылась за нею.

Пьер, решившись во всем повиноваться своей руководительнице, направился к диванчику, который она ему указала. Как только Анна Михайловна скрылась, он заметил, что взгляды всех, бывших в комнате, больше чем с любопытством и с участием устремились на него. Он заметил, что все перешептывались, указывая на него глазами как будто с страхом и даже с подбострастием. Ему оказывали уважение, какого прежде никогда не оказывали: неизвестная ему дама, которая говорила с духовными лицами, встала с своего места и предложила ему сесть; адъютант поднял уроненную Пьером перчатку и подал ему. Доктора почтительно замолкли, когда он проходил мимо их, и посторонились, чтобы дать ему место. Пьер хотел сначала сесть на другое место, чтобы не стеснять даму, хотел сам поднять перчатку и обойти докторов, которые вовсе и не стояли на его дороге; но он вдруг почувствовал, что это было бы неприлично, он почувствовал, что он в нынешнюю ночь есть лицо, которое обязано совершить какой-то страшный и ожидаемый всеми обряд, и что поэтому он должен был принимать от всех услуги. Он принял молча перчатку от адъютанта, сел на место дамы, положив свои большие руки на симметрично выставленные колени, в наивной позе египетской статуи, и решив про себя, что все это так именно должно быть и что ему в нынешний вечер, для того чтобы не потеряться и не наделать глупостей, не следует действовать по своим соображениям, а надобно предоставить себя вполне на волю тех, которые руководили им.

Не прошло и двух минут, как князь Василий, в своем кафтане с тремя звездами, величественно, высоко неся голову, вошел в комнату. Он казался похудевшим с утра; глаза его были больше обыкновенного, когда он оглянул комнату и увидел Пьера. Он подошел к нему, взял руку (чего он прежде никогда не делал) и потянул ее книзу, как будто он хотел испытать, крепко ли она держится.

– Мужайтесь, мужайтесь, мой друг. Он пожелал вас видеть. Это хорошо... – и он хотел идти. Но Пьер почел нужным спросить:

– Как здоровье... – Он замялся, не зная, прилично ли назвать умирающего графом, назвать же отцом ему было совестно.

– У него был еще удар, полчаса назад. Мужайтесь, мой друг...

Пьер был в таком состоянии неясности мысли, что при слове «удар» ему представился удар какого-нибудь тела. Он, недоумевая, посмотрел на князя Василия. И уже потом сообразил, что ударом называется болезнь. Князь Василий на ходу сказал несколько слов Лоррену и прошел в дверь на цыпочках. Он не умел ходить на цыпочках и неловко подпрыгивал всем телом. Вслед за ним прошла старшая княжна, потом прошли духовные лица и причетники, прислуга тоже прошла в дверь. За этою дверью послышалось передвижение, и, наконец, все с тем же бледным, но твердым в исполнении долга лицом выбежала Анна Михайловна и, дотронувшись до руки Пьера, сказала:

– Милосердие Божие неисчерпаемо. Соборование сейчас начнется. Пойдемте.

Пьер прошел в дверь, ступая по мягкому ковру, и заметил, что и адъютант, и незнакомая дама, и еще кто-то из прислуги, все прошли за ним, как будто теперь уж не надо было спрашивать разрешения входить в эту комнату.

XXX

Пьер хорошо знал эту большую, разделенную колоннами и аркой комнату, всю обитую персидскими коврами. Часть комнаты за колоннами, где с одной стороны стояла высокая красного дерева кровать под шелковыми занавесами, а с другой – огромный киот с образами, была красно и ярко освещена, как бывают освещены церкви во время вечерней службы. Под освещенными ризами киота стояло длинное вольтеровское кресло, и на кресле, обложенном вверху снежно-белыми, не смятыми, видимо, только что перемененными подушками, укрытая до пояса ярко зеленым одеялом лежала знакомая Пьеру величественная фигура его отца графа Безухова с тою же седою гривой волос, напоминавших льва, над широким лбом, и с теми же характерно-благородными, крупными морщинами на красивом красно-желтом лице. Он лежал прямо под образами; обе толстые большие руки его были выпростаны из-под одеяла и лежали на нем. В правую руку, лежавшую ладонью книзу, между большим и указательным пальцами вставлена была восковая свеча, которую, нагибаясь из-за кресла, придерживал в ней старый слуга. Над креслом стояли духовные лица в своих величественных, блестящих одеждах, с выпростанными на них длинными волосами, с зажженными свечами в руках и медленно-торжественно служили. Немного позади их стояли две младшие княжны, с платком в руках и у глаз, и впереди их старшая, Катишь, со злобным и решительным видом, ни на мгновение не спуская глаз с икон, как будто говорила всем, что не отвечает за себя, если оглянется. Анна Михайловна, с кроткою печалью и всепрощением на лице, и неизвестная дама стояли у двери. Князь Василий стоял с другой стороны двери, близко к креслу, за резным бархатным стулом, который он поворотил к себе спинкой, и, облокотив на нее левую руку со свечой, крестился правой, каждый раз поднимая глаза кверху, когда приставлял персты ко лбу. Лицо его выражало спокойную набожность и преданность воле Божией. «Ежели вы не понимаете этих чувств, то тем хуже для вас», – казалось, говорило его лицо.

Сзади его стоял адъютант, доктора и мужская прислуга; как бы в церкви, мужчины и женщины разделились. Все молчало, крестилось, только слышны были церковное чтение, сдержанное, густое, басовое пение и в минуты молчания перестановка ног и вздохи. Анна Михайловна, с тем значительным видом, который показывал, что она знает, что делает, перешла через всю комнату к Пьеру и подала ему свечу. Он зажег ее и, развлеченный наблюдением над окружающими, стал креститься тою же рукой, в которой была свеча.

Младшая, румяная и смешливая княжна Софи, с родинкою, смотрела на него. Она улыбнулась, спрятала свое лицо в платок и долго не открывала его, но, посмотрев на Пьера, опять засмеялась. Она, видимо, чувствовала себя не в силах глядеть на него без смеха, но не могла удержаться, чтобы не смотреть на него, и во избежание искушений тихо перешла за колонну. В середине службы голоса духовенства вдруг замолкли, духовные лица шепотом сказали что-то друг другу; старый слуга, державший руку графа, поднялся и обратился к дамам. Анна Михайловна выступила вперед и, нагнувшись над больным из-за спины, пальцем поманила к себе Лоррена. Француз-доктор, стоявший без зажженной свечи, прислонившись к колонне, в той почтительной позе иностранца, которая показывает, что, несмотря на различие веры, он понимает всю важность совершающегося обряда и даже одобряет его, неслышными шагами чело- века во всей силе возраста подошел к больному, взял своими белыми тонкими пальцами его свободную руку с зеленого одеяла и, отвернувшись, стал шупать пульс и задумался. Больному дали чего-то выпить, зашевелились около него, потом опять расступились по местам, и богослужение возобновилось. Во время этого перерыва Пьер заметил, что князь Василий вышел из-за своей спинки стула и с тем же видом, который показывал, что он знает, что делает, и что тем хуже для других, ежели они не понимают его, не подошел к больному, а, пройдя мимо его, присоединился к старшей княжне и с ней вместе направился в глубь спальни, к высокой

кровати под шелковыми занавесами. От кровати и князь и княжна оба скрылись в заднюю дверь; но перед концом службы один за другим возвратились на свои места. Пьер обратил на это обстоятельство не более внимания, как и на все другие, раз навсегда решив в своем уме, что все, что совершалось перед ним нынешний вечер, было так необходимо нужно.

Звуки церковного пения прекратились, и послышался голос духовного лица, которое почтительно поздравляло больного с принятием таинства. Больной лежал все так же безжизненно и неподвижно. Вокруг него все зашевелилось, послышались шаги и шепоты, из которых шепот Анны Михайловны выдавался резче всех.

Пьер слышал, как она сказала:

– Непременно надо перенести на кровать, здесь никак нельзя будет...

Больного так обступили доктора, княжны и слуги, что Пьер уже не видал той красно-желтой головы, с седой гривой, которая, несмотря на то, что он видел и другие лица, ни на мгновение не выходила у него из вида во все время службы. Пьер догадался по осторожному движению людей, обступивших кресло, что умирающего поднимали и переносили.

– За мою руку держись, уронишь так, – послышался ему испуганный шепот одного из слуг, – снизу... еще один, – говорили голоса, и тяжелые дыхания и переступания ногами людей стали торопливее, как будто тяжесть, которую они несли, была сверх сил их.

Несущие, в числе которых была и Анна Михайловна, поравнялись с молодым человеком, и ему на мгновение, из-за спин и затылков людей, показалась высокая, жирная, открытая грудь, тучные плечи больного, приподнятые кверху людьми, державшими его под мышки, и седая курчавая львиная голова. Голова эта с необычайно широким лбом и скулами, красивым чувственным ртом и величественным холодным взглядом была не обезображена близостью смерти. Она была такая же, какою знал ее Пьер назад тому три месяца, когда граф отпускал его в Петербург. Но голова эта беспомощно покачивалась от неровных шагов несущих, и холодный, безучастный взгляд не знал, на чем остановиться.

Прошло несколько минут суетни около высокой кровати; люди, несшие больного, разошлись; Анна Михайловна дотронулась до руки Пьера и сказала ему: «Пойдемте». Пьер вместе с нею подошел к кровати, на которой в праздничной позе, видимо, имевшей отношение к только что совершенному таинству, был положен больной. Он лежал, высоко опираясь головой на подушки. Руки его были симметрично выложены на зеленом шелковом одеяле ладонями вниз. Когда Пьер подошел, граф глядел прямо на него, но глядел тем взглядом, которого смысл и значение нельзя понять человеку. Или этот взгляд ровно ничего не говорил, как только то, что покуда есть глаза, надо же глядеть куда-нибудь, или он говорил слишком многое. Пьер остановился, не зная, что ему делать, и вопросительно оглянулся на свою руководительницу, Анну Михайловну. Анна Михайловна сделала ему торопливый жест глазами, указывая на руку больного и губами посылая ей воздушный поцелуй. Пьер, старательно вытягивая шею, чтоб не зацепить за одеяло, исполнил ее совет и приложился к ширококостной и мясистой руке. Ни рука, ни один мускул лица графа не дрогнули. Пьер опять вопросительно посмотрел на Анну Михайловну, спрашивая, теперь что ему делать. Анна Михайловна глазами указала ему на кресло, стоявшее подле кровати. Пьер покорно стал садиться на кресло, глазами продолжая спрашивать, то ли он сделал, что нужно. Анна Михайловна одобрительно кивнула головой. Пьер принял опять симметрично-наивное положение египетской статуи, видимо, соболезнуя о том, что неуклюжее и толстое тело его занимало такое большое пространство, и употребляя все душевные силы, чтобы казаться как можно меньше. Он смотрел на графа. Граф смотрел на то место, где находилось лицо Пьера в то время, как он стоял. Анна Михайловна являла в своем выражении сознание трогательной важности этой последней минуты свидания отца с сыном. Это продолжалось две минуты, которые показались Пьеру часом. Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот pokrивился (тут только Пьер понял, до какой степени отец его был близок к смерти), из

перекривленного рта слышался неясный хриплый звук. Анна Михайловна старательно смотрела в глаза больному и, стараясь угадать, чего было нужно ему, указывала то на Пьера, то на питье, то шепотом вопросительно называла князя Василия, то указывала на одеяло. Глаза и лицо больного выказывали нетерпение. Он сделал усилие, чтобы взглянуть на слугу, который безотходно стоял у изголовья постели.

– На другой бочок перевернуться хотят, – прошептал слуга и поднялся, чтобы перевернуть лицом к стене тяжелое тело графа.

Пьер встал, чтобы помочь слуге.

В то время как графа переворачивали, одна рука его беспомощно завалилась назад, и он сделал напрасное усилие, чтобы перетащить ее. Заметил ли граф тот взгляд ужаса, с которым Пьер смотрел на эту безжизненную руку, или какая другая мысль промелькнула в его умирающей голове в эту минуту, но он посмотрел на непослушную руку, на выражение ужаса в лице Пьера, опять на руку, и на лице его явилась так не шедшая к его чертам слабая, страдальческая улыбка, выражавшая как бы насмешку над своим собственным бессилием. Неожиданно, при виде этой улыбки, Пьер почувствовал содрогание в груди, щипание в носу, и слезы затуманили его зрение. Больного перевернули на бок к стене. Он вздохнул.

– Он задремал, – сказала Анна Михайловна, заметив приходившую на смену княжну. – Пойдем.

Пьер вышел.

XXXI

В приемной никого уже не было, кроме князя Василия и старшей княжны, которые, сидя под портретом Екатерины, о чем-то оживленно говорили. Как только они увидели Пьера с его руководительницей, они замолчали. Княжна что-то спрятала, как показалось Пьеру, и прошептала:

– Не могу видеть эту женщину.

– Катишь велела подать чаю в маленькой гостиной, – сказал князь Василий Анне Михайловне, – вы бы пошли, моя бедная Анна Михайловна, подкрепиться, а то вас не хватит.

Пьеру он ничего не сказал, только пожал с чувством его руку пониже плеча. Пьер с Анной Михайловной прошли в маленькую гостиную.

– Ничто так не восстанавливает после бессонной ночи, как чашка этого превосходного русского чая, – говорил Лоррен с выражением сдержанной оживленности, отхлебывая из тонкой, без ручки, китайской чашки, стоя в маленькой круглой гостиной перед столом, на котором стоял чайный прибор и холодный ужин.

Около стола собрались, чтобы подкрепить свои силы, все бывшие в эту ночь в доме графа Безухова. Пьер хорошо помнил эту маленькую круглую гостиную, с зеркалами и маленькими столиками. Во время балов в доме графа Пьер, не умевший танцевать, любил сидеть в этой маленькой зеркальной и наблюдать, как дамы в бальных туалетах, бриллиантах и жемчугах на голых плечах, проходя через эту комнату, оглядывали себя в ярко освещенные зеркала, несколько раз повторявшие их отражения. Теперь та же комната была едва освещена двумя свечами, и среди ночи на одном маленьком столике беспорядочно стояли чайный прибор и блюда, и разнообразные, непраздничные люди, шепотом переговариваясь, сидели в ней, каждым движением, каждым словом показывая, что никто не забывает того, что делается теперь и имеет еще совершиться в спальне. Пьер не стал есть, хотя ему и очень хотелось. Он оглянулся вопросительно на свою руководительницу и увидел, что она на цыпочках выходила опять в приемную, где остался князь Василий с старшей княжной. Пьер полагал, что и это было так нужно, и, помедлив немного, пошел за ней. Анна Михайловна стояла подле княжны, и обе они в одно время говорили взволнованным шепотом:

– Позвольте мне, княгиня, знать, что нужно и что не нужно, – говорила княжна, видимо, находясь в том же взволнованном состоянии, в каком она была в то время, как захлопывала дверь своей комнаты.

– Но, милая княжна, – кротко и убедительно говорила Анна Михайловна, заступая дорогу от спальни и не пуская княжну, – не будет ли это слишком тяжело для бедного дядюшки в такие минуты, когда ему нужен отдых? В такие минуты разговор о мирском, когда его душа уже приготовлена...

Князь Василий сидел на кресле в своей фамиллярной позе, высоко заложив ногу на ногу. Щеки его сильно перепрыгивали и, опустившись, казались толще внизу, но он имел вид человека, мало занятого разговором двух дам.

– Послушайте, моя милая Анна Михайловна, оставьте Катишь делать, что она знает. Вы знаете, как граф ее любит.

– Я и не знаю, что в этой бумаге, – говорила княжна, обращаясь к князю Василию и указывая на мозаиковый портфель, который она держала в руках. – Я знаю только, что настоящее завещание у него в бюро, а это забытая бумага... – Она хотела обойти Анну Михайловну, но Анна Михайловна, подпрыгнув, опять загородила ей дорогу.

– Я знаю, милая, добрая княжна, – сказала Анна Михайловна, хватаясь рукой за портфель и так крепко, что видно было – она не скоро его пустит. – Милая княжна, я вас прошу, я вас умоляю, пожалейте его. Я вас умоляю.

Княжна молчала. Слышны были только звуки усилий борьбы за портфель. Видно было, что ежели она заговорит, то заговорит не лестно для Анны Михайловны. Анна Михайловна держала крепко, но, несмотря на то, голос ее удерживал всю свою сладкую тягучесть и мягкость.

– Пьер, подойдите сюда, мой друг. Я думаю, что он не лишний в родственном совете, не правда ли, князь?

– Что же вы молчите, кузен, – вдруг вскрикнула княжна так громко, что в гостиной услышали и испугались ее голоса. – Что вы молчите, когда здесь бог знает кто позволяет себе вмешиваться и делать сцены на пороге комнаты умирающего. Интриганка! – прошептала она злобно и дернула портфель изо всей силы, но Анна Михайловна сделала несколько шагов, чтобы не отстать от портфеля, и перехватила руку.

– Ох! – сказал князь Василий, укоризненно и удивленно. Он встал. – Это смешно. Ну же, пустите. Я вам говорю.

Княжна пустила.

– И вы.

Анна Михайловна не послушалась его.

– Пустите, я вам говорю. Я беру все на себя. Я пойду и спрошу его. Я... довольно вам этого.

– Но, князь... – говорила Анна Михайловна, – после такого великого таинства, дайте ему минуту покоя. Вот, Пьер, скажите ваше мнение, – обратилась она к молодому человеку, который, вплотную подойдя к ним, удивленно смотрел на озлобленное, потерявшее все приличие лицо княжны и на прыгающие щеки князя Василия.

– Помните, что вы будете отвечать за все последствия, – строго сказал князь Василий, – вы не знаете, что вы делаете.

– Мерзкая женщина! – вскрикнула княжна, неожиданно бросаясь на Анну Михайловну и вырывая портфель.

Князь Василий опустил голову и развел руками.

В эту минуту дверь, та страшная дверь, на которую так долго смотрел Пьер и которая так тихо отворялась, быстро, с шумом откинулась, стукнув об стену, и средняя княжна выбежала оттуда и всплеснула руками.

– Что вы делаете! – отчаянно проговорила она. – Он умирает, а вы меня оставляете одну.

Старшая княжна выронила портфель. Анна Михайловна быстро нагнулась и, подхватив спорную вещь, побежала в спальню. Старшая княжна и князь Василий, опомнившись, пошли за ней. Через несколько минут первой вышла оттуда старшая княжна, с бледным и сухим лицом и прикушенной нижней губой. При виде Пьера лицо ее выразило неудержимую злобу. – Да, радуйтесь теперь, – сказала она, – вы этого ждали. – И, зарывав, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.

За княжной вышел князь Василий. Он, шатаясь, дошел до дивана, на котором сидел Пьер, и упал на него, закрыв глаза рукой. Пьер заметил, что он был бледен и что нижняя челюсть его прыгала и тряслась, как в лихорадочной дрожи.

– Ах, мой друг! – сказал он, взяв Пьера за локоть, и в голосе его была искренность и слабость, которые Пьер никогда прежде не замечал в нем. – Сколько мы грешим, сколько мы обманываем, и все для чего? Мне шестой десяток, мой друг... ведь мне... Все кончится смертью, все. Смерть ужасна. – Он заплакал.

Анна Михайловна вышла последняя. Она подошла к Пьеру тихими медленными шагами.

– Пьер!.. – сказала она.

Пьер вопросительно смотрел на нее. Она поцеловала в лоб молодого человека, увлажая его слезами. Она помолчала.

– Его не стало...

Пьер смотрел на нее через очки.

– Пойдемте, я вас провожу. Старайтесь плакать; ничто так не облегчает, как слезы.

Она провела его в темную гостиную, и Пьер рад был, что никто там не видел его лица. Анна Михайловна ушла от него, и когда она вернулась, он, подложив под голову руку, спал крепким сном.

Разбудив его, Анна Михайловна говорила Пьеру:

– Да, мой друг, это великая потеря для всех нас, не говоря о вас. Но Бог вас поддержит, вы молоды, и теперь, надеюсь, обладатель огромного богатства. Завещание еще не вскрыто. Я довольно вас знаю и уверена, что это не вскружит вам голову, но это налагает на вас обязанности, и надо быть мужчиной.

Пьер молчал.

– После я, может быть, расскажу вам, что если бы я не была там, то бог знает что бы случилось. Вы знаете, что дядюшка третьего дня обещал мне не забыть Бориса, но не успел. Надеюсь, мой друг, вы исполните желание отца.

Пьер ничего не понимал и молча, застенчиво краснея, что с ним редко бывало, смотрел на княгиню Анну Михайловну. Переговорив с Пьером, Анна Михайловна уехала к Ростовым и легла спать. Проснувшись утром, она рассказывала Ростовым и всем знакомым подробности смерти графа Безухова. Она говорила, что граф умер так, как и она желала бы умереть, что конец его был не только трогателен, но и назидателен, последнее же свидание отца с сыном было до того трогательно, что она не могла вспомнить его без слез и что она не знает, кто лучше вел себя в эти страшные и торжественные минуты: отец ли, который так все и всех вспомнил в последние минуты и такие трогательные слова сказал сыну, или Пьер, на которого жалко было смотреть, как он был убит и как, несмотря на это, старался скрыть свою печаль, чтобы не огорчить умирающего отца.

– Это тяжело, но это спасительно; душа возвышается, когда видишь таких людей, как старый граф и его достойный сын, – говорила она. О поступках княжны и князя Василья она, не одобряя их, тоже рассказывала, но под большим секретом и шепотом.

XXXII

В Лысых Горах, имении князя Николая Андреевича Болконского, ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней, но ожидание не нарушало стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя. Генерал-аншеф князь Николай Андреевич, прозванный в обществе Прусский король, с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил безвыездно в своих Лысых Горах с дочерью, княжной Марьей, и при ней компаньонкой мадемуазель Бурьен. И в нынешнее царствование, хотя ему и был разрешен въезд в столицы, он также продолжал безвыездно жить в деревне, говоря, что ежели кому его нужно, то тот и от Москвы полтораста верст доедет до Лысых Гор, а что ему никого и ничего не нужно. Он говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть только две добродетели: деятельность и ум. Он сам занимался воспитанием своей дочери и, чтобы развивать в ней обе главные добродетели, до двадцати лет давал ей уроки алгебры и геометрии и распределял всю ее жизнь в непрерывных занятиях. Сам он постоянно был занят то писанием своих мемуаров, то выкладками из высшей математики, то точением табакерок на станке, то работой в саду и наблюдением над постройками, которые не прекращались в его имении, то чтением любимых авторов.

Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности. Его выходы к столу совершались при одних и тех же неизменных условиях, и не только в один и тот же час, но и минуту. С людьми, окружавшими его, от дочери до слуг, князь был резок и неизменно требователен и потому, не быв жестоким, он возбуждал к себе страх и почтительность, каких не легко мог бы добиться самый жестокий человек. Несмотря на то, что он был в отставке и не имел теперь никакого значения в государственных делах, каждый начальник той губернии, где было имение князя, считал своим долгом являться к нему и, точно так же как архитектор, садовник или княжна Марья, дожидаясь назначенного часа выхода князя в высокой официантской. И каждый в этой официантской испытывал то же чувство почтительности и даже страха, в то время как отворялась громадная, высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика, с маленькими, сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, когда он насупливался, застилавшими блеск умных и, точно молодых, блестящих глаз.

В день приезда молодых, утром, по обыкновению, княжна Марья в урочный час входила для утреннего приветствия в официантскую и со страхом крестилась и читала внутренне молитву. Каждый день она входила и каждый день молилась о том, чтоб это ежедневное свидание сошло благополучно.

Сидевший в официантской пудренный старик слуга тихим движением встал и шепотом доложил: «Пожалуйте».

Из-за двери слышались равномерные звуки станка. Княжна робко потянула за легко и плавно отворяющуюся дверь и остановилась у входа. Князь работал за станком и, оглянувшись, продолжал свое дело.

Огромный кабинет был наполнен вещами, очевидно, беспрестанно употребляемыми. Большой стол, на котором лежали книги и планы, высокие стеклянные шкафы библиотеки с ключами в дверцах, мраморный стол для писания в стоячем положении, на котором лежала открытая тетрадь, токарный станок с разложенными инструментами и с рассыпанными кругом стружками, — все выказывало постоянную, разнообразную и порядочную деятельность. По движениям небольшой ноги, обутой в татарский, шитый серебром, сапожок, по твердому налеганию жилистой сухощавой руки видна была в князе еще упорная и много выдерживающая сила свежей старости. Сделав несколько кругов, он снял ногу с педали станка, обтер старомоску, кинул ее в кожаный карман, приделанный к станку, и, подойдя к столу, подозвал дочь.

Он никогда не благословлял своих детей и только, подставив ей щетинистую, еще не бритую нынче щеку, сказал, строго и вместе с тем внимательно-нежно оглядев ее: «Здорова?.. ну так садись!» (Говорил он как всегда коротко и отрывисто, раскрывая тетрадь геометрии, писанную его рукой, и подвигая ногой свое кресло.)

– На завтра! – сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до другого отмечая жестким ногтем. Княжна пригнулась к столу над тетрадью. – Постой, письмо тебе, – вдруг сказал старик, доставая из приделанного над столом кармана конверт, надписанный женскою рукой, и кидая его на стол.

Лицо княжны покрылось красными пятнами при виде письма. Она торопливо взяла его и пригнулась к нему.

– От Элоизы? – спросил князь, холодною улыбкой выказывая еще крепкие, но редкие и желтоватые зубы.

– Да, от Жюли Ахросимовой, – сказала княжна, робко взглядывая и робко улыбаясь.

– Еще два письма пропущу, а третье прочту, – строго сказал князь, – боюсь, много вздору пишете. Третье прочту.

– Прочтите хоть это, отец, – отвечала княжна, краснея еще более и подавая ему письмо.

– Третье, я сказал, третье, – коротко крикнул князь, отталкивая письмо, и, облокотившись на стол, пододвинул тетрадь с чертежами геометрии.

– Ну, сударыня, – начал старик, пригнувшись близко к дочери и над тетрадью и положив одну руку на спинку кресла, на котором сидела княжна, так что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженною тем табачным и старчески-едким запахом отца, который она так давно знала.

– Ну, сударыня, треугольники эти подобны; изволишь видеть, угол абс...

Княжна испуганно взглядывала на близко от нее блестящие глаза отца; красные пятна переливались по ее лицу, и видно было, что она ничего не понимает и так боится, что страх помешает ей понять все дальнейшие толкования отца, как бы ясны они ни были. Виноват ли был учитель, или виновата была ученица, но каждый день повторялось одно и то же: у княжны мутилось в глазах, она ничего не видела, не слышала, только чувствовала подле себя сухое лицо строгого отца, чувствовала его дыханье и запах и только думала о том, как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу. Старик выходил из себя: с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на котором сам сидел, делая усилия над собой, чтобы не разгорячиться, и почти всякий раз горячился, бранился, а иногда швырял тетрадь.

Княжна ошиблась ответом.

– Ну, как же не дура! – крикнул князь, оттолкнув тетрадь и быстро отвернувшись; но тотчас же встал, прошелся, дотронулся руками до волос княжны и снова сел. Он придвинулся и усиленно успокоенным голосом продолжал толкование.

– Нельзя, княжна, нельзя, – сказал он, когда княжна, взяв и закрыв тетрадь с заданными уроками, уже готовилась уходить. – Математика великое дело, моя сударыня. А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу. Стерпится – слюбится. – Он потрепал ее рукой по щеке. – Дурь из головы выскочит. – Она хотела выйти, он остановил ее жестом и достал с высокого стола новую неразрезанную книгу.

– Вот еще какой-то Ключ таинства, который тебе твоя Элоиза посылает. Религиозная. А я ни в чью веру не вмешиваюсь. Просмотрел. Возьми. Ну, ступай, ступай!

Он потрепал ее по плечу и сам запер за нею дверь.

XXXIII

Княжна Марья возвратилась в свою комнату с грустным, испуганным выражением, которое редко покидало ее и делало ее некрасивое, болезненное лицо еще более некрасивым, села за свой письменный стол, уставленный миниатюрными портретами и заваленный тетрадами и книгами. Княжна была столь же беспорядочна, как отец ее порядочен. Она положила тетрадь геометрии и нетерпеливо распечатала письмо. Когда, не читая еще, но только как будто взвешивая предстоящее удовольствие, она перевернула листики письма, лицо ее переменилось; она, видимо, успокоилась, села в свое любимое кресло в углу комнаты, подле огромного трюмо, и начала читать. Письмо было от ближайшего с детства друга княжны; друг этот была та самая Жюли Ахросимова, которая была на именинах у Ростовых. Марья Дмитриевна Ахросимова была соседка по имению с князем и два летних месяца проводила в деревне. Князь уважал Марью Дмитриевну, хотя и подтрунивал над нею. Марья Дмитриевна одному только князю Николаю говорила «вы» и ставила его в пример всем нынешним людям.

Жюли писала:

«Милый и бесценный друг, какая страшная и ужасная вещь разлука! Сколько ни твержу себе, что половина моего существования и моего счастья в вас, что, несмотря на расстояние, которое нас разлучает, сердца наши соединены неразрывными узами, мое сердце возмущается против судьбы, и, несмотря на удовольствия и рассеяния, которые меня окружают, я не могу подавить некоторую скрытую грусть, которую испытываю в глубине сердца со времени нашей разлуки. Отчего мы не вместе, как в прошлое лето, в нашем большом кабинете, на голубом диване, на диване «признаний»? Отчего я не могу, как три месяца тому назад, почерпнуть новые нравственные силы в вашем взгляде, кротком, спокойном и проникательном, который я так любила и который вижу перед собой в ту минуту, как пишу вам?»

Прочтя до этого места, княжна Марья вздохнула и оглянулась в трюмо, которое стояло направо от нее. Зеркало отразило некрасивое, слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные, теперь особенно безнадежно смотрели на себя в зеркало. «Она мне льстит», – подумала княжна, отвернулась и продолжала читать. Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, глаза княжны, большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делали привлекательнее красоты. Но княжна никогда не видала хорошего выражения своих глаз, того выражения, которое они принимали в те минуты, когда она не думала о себе. Как и у всех людей, лицо ее принимало натянуто-неестественное, дурное выражение, как скоро она смотрелась в зеркало. Она продолжала читать:

«Вся Москва только и говорит о войне. Один из моих двух братьев уже за границей, другой с гвардией, которая выступает в поход к границе. Наш милый государь оставляет Петербург и, как предполагают, намерен сам подвергнуть свое драгоценное существование случайностям войны. Дай Бог, чтобы корсиканское чудовище, которое возмущает спокойствие Европы, было низвергнуто ангелом, которого Всемогуший в своей благодати поставил над нами повелителем. Не говоря уже о моих братьях, эта война лишила меня одного из отношений, самых близких моему сердцу. Я говорю о молодом Николае Ростове, который при своем энтузиазме не мог переносить бездействия и оставил университет, чтобы поступить в армию. Признаюсь вам, милая Мария, что, несмотря на его чрезвычайную молодость, отъезд его в армию был для меня большим горем. В молодом человеке, о котором я вам говорила прошлым летом, столько благородства, истинной молодости, которую встречаешь так редко в наш век между двадцатилетними стариками. У него особенно так много откровенности и сердца. Он так чист и полон поэзии, что мои отношения к нему, при всей мимолетности своей, были одною из самых сладостных отрад моего бедного сердца, которое уже так много страдало. Я вам расскажу когда-

нибудь наше прощанье и все, что говорилось при прощании. Все это еще слишком свежо... Ах! милый друг, вы счастливы, что не знаете этих жгучих наслаждений, этих жгучих горестей. Вы счастливы, потому что последние обыкновенно сильнее первых. Я очень хорошо знаю, что граф Николай слишком молод для того, чтобы сделаться для меня чем-нибудь, кроме как другом. Но эта сладкая дружба, эти столь поэтические и столь чистые отношения были потребностью моего сердца. Но довольно об этом.

Главная новость, занимающая всю Москву, – смерть старого графа Безухова и его наследство. Представьте себе, три княжны получили какую-то малость, князь Василий ничего, а Пьер – наследник всего и сверх того признан законным сыном и потому графом Безуховым и владельцем самого огромного состояния в России. Говорят, что князь Василий играл очень гадкую роль во всей этой истории и что он уехал в Петербург очень сконфуженный. Признаюсь вам, что я очень плохо понимаю все эти дела по духовным завещаниям; знаю только, что с тех пор, как молодой человек, которого мы все знали под именем просто Пьера, сделался графом Безуховым и владельцем одного из лучших состояний России, – я забавляюсь наблюдениями над переменой тона маменек, у которых есть дочери-невесты, и самих барышень в отношении к этому господину, который, в скобках будь сказано, всегда казался мне очень ничтожным. Только одна маменька продолжает трактовать его с своею обычною резкостью. Так как уже два года все забавляется тем, чтобы приискывать мне женихов, которых я большею частью не знаю, то брачная хроника Москвы делает меня графиней Безуховой. Но вы понимаете, что я нисколько этого не желаю. Кстати о браках. Знаете ли вы, что недавно всеобщая тетушка Анна Михайловна доверила мне под величайшим секретом замысел устроить ваше супружество. Это ни более ни менее как сын князя Василия, Анатолий, которого хотят пристроить, женив его на богатой и знатной девице, и на вас пал выбор родителей. Я не знаю, как вы посмотрите на это дело, но я сочла своим долгом предупредить вас. Он, говорят, очень хорош и большой повеса. Вот все, что я могла узнать о нем.

Но будет болтать. Кончаю мой второй листок, а маменька прислала за мной, чтобы ехать обедать к Апраксиным.

Прочитайте мистическую книгу, которую я вам посылаю; она имеет у нас огромный успех. Хотя в ней есть вещи, которые трудно понять слабому уму человеческому, но это превосходная книга; чтение ее успокаивает и возвышает душу. Прощайте. Мое почтение вашему батюшке и мои приветствия мадемуазель Бурьен. Обнимаю вас от всего сердца.

Жюли.

P.S. Известите меня о вашем брате и о его прелестной жене».

Княжна подумала, задумчиво улыбаясь, причем лицо ее, освещенное лучистыми глазами, совершенно преобразилось, и вдруг поднявшись, тяжело ступая, перешла к столу. Она достала бумагу, и рука ее быстро начала ходить по ней. Так писала она в ответ:

«Милый и бесценный друг. Ваше письмо от 13-го доставило мне большую радость. Вы все еще меня любите, моя поэтическая Жюли. Разлука, о которой вы говорите так много дурного, видно, не имела на вас своего обычного влияния. Вы жалуетесь на разлуку, что же я должна была бы сказать, если бы смела, – я, лишенная всех тех, кто мне дорог? Ах, ежели бы не было у нас религии для утешения, жизнь была бы очень печальна. Почему приписываете вы мне строгий взгляд, когда говорите о вашей склонности к молодому человеку? В этом отношении я строга только к себе. Я знаю себя достаточно и очень хорошо понимаю, что, не сделавшись смешною, я не могу испытывать тех чувств любви, которые вам кажутся так сладки. Я понимаю эти чувства у других и, если не могу одобрять их, никогда не испытывая, то и не осуждаю их. Мне кажется только, что христианская любовь, любовь к ближнему, любовь к врагам, – достойнее, слаще и лучше, чем те чувства, которые могут внушить прекрасные глаза молодого человека молодой девушке, поэтической и любящей, как вы.

Известие о смерти графа Безухова дошло до нас прежде вашего письма, и мой отец был очень тронут им. Он говорит, что это был предпоследний представитель великого века, что теперь черед за ним, но что он сделает все, зависящее от него, чтобы черед этот пришел как можно позже. Избави нас Боже от этого несчастья.

Я не могу разделять вашего мнения о Пьере, которого знала еще ребенком. Мне казалось, что у него было всегда прекрасное сердце, а это то качество, которое я более всего ценю в людях. Что касается до его наследства и до роли, которую играл в этом князь Василий, то это очень печально для обоих. Ах, милый друг, слова нашего Божественного Спасителя, что легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Божие, – эти слова страшно справедливы. Я жалею князя Василия и еще более Пьера. Такому молодому быть отягощенным таким огромным состоянием, – через сколько искушений надо будет пройти ему! Если бы у меня спросили, чего я желаю более всего на свете, – я желаю быть беднее самого бедного из нищих.

Благодарю вас тысячу раз, милый друг, за книгу, которую вы мне посылаете и которая делает столько шуму у вас. Впрочем, так как вы мне говорите, что в ней между многими хорошими вещами есть такие, которых не может постигнуть слабый ум человеческий, то мне кажется излишним заниматься непонятным чтением, которое по этому самому не могло бы принести никакой пользы. Я никогда не могла понять страсть, которую имеют некоторые особы, путать себе мысли, пристращаясь к мистическим книгам, которые возбуждают только сомнения в их умах, раздражают их воображение и дают им характер преувеличения, совершенно противный простоте христианской. Будем читать лучше Апостолов и Евангелие. Не будем пытаться проникнуть то, что в этих книгах есть таинственного, ибо, как можем мы, жалкие грешники, познать страшные и священные тайны Провидения, до тех пор, пока носим на себе ту плотскую оболочку, которая воздвигает между нами и Вечным непроницаемую завесу? Ограничимся лучше изучением великих правил, которые наш Божественный Спаситель оставил нам для нашего руководства здесь, на земле, будем стараться следовать им и постараемся убедиться в том, что, чем меньше мы будем давать разгула нашему уму, тем мы будем приятнее Богу, который отвергает всякое знание, исходящее не от Него, и что, чем меньше мы углубляемся в то, что Ему угодно было скрыть от нас, тем скорее Он даст нам это открытие своим божественным разумом.

Отец мне ничего не говорил о женихе, но сказал только, что получил письмо и ждет посещения князя Василия; что касается до плана супружества относительно меня, я вам скажу, милый и бесценный друг, что брак, по-моему, есть божественное установление, которому нужно подчиняться. Как бы то ни было тяжело для меня, но если Всемогущему угодно будет наложить на меня обязанности супруги и матери, я буду стараться исполнять их так верно, как могу, не забываясь об изучении своих чувств в отношении того, кого Он мне даст супругом.

Я получила письмо от брата, который мне объявляет о своем приезде с женой в Лысые Горы. Радость эта будет непродолжительна, так как он оставляет нас для того, чтобы принять участие в этой войне, в которую мы втянуты бог знает как и зачем. Не только у вас, в центре дел и света, но и здесь, среди этих полевых работ и этой тишины, какую горожане обыкновенно представляют себе в деревне, отголоски войны слышны и дают себя тяжело чувствовать. Отец мой только и говорит что о походах и переходах, в чем я ничего не понимаю, и третьего дня, делая мою обычную прогулку по улице деревни, я видела раздирающую душу сцену. Это была партия рекрут, набранных у нас и посылаемых в армию. Надо было видеть состояние, в котором находились матери, жены и дети тех, которые уходили, и слышать рыдания тех и других. Подумаешь, что человечество забыло законы своего Божественного Спасителя, учившего нас любви и прощению, и что оно полагает главное достоинство свое в искусстве убивать друг друга.

Прощайте, милый и добрый друг. Да сохранит вас наш Божественный Спаситель и Его Пресвятая Матерь под своим святым и могущественным покровом.

Мария».

– А, вы отправляете письмо, княжна, а я уже отправила свое. Я писала моей бедной матери, – заговорила быстро-приятным голоском вечно улыбающаяся мадемуазель Бурьен, картавя на р и внося с собой в сосредоточенную, грустную и пасмурную атмосферу княжны Марьи совсем другой, легкомысленно-веселый и самодовольный мир. – Надо предупредить вас, княжна, – прибавила она, понижая голос, – что князь разбранился с Михаилом Ивановичем, – сказала она, особенно грассируя и с удовольствием слушая себя, – он очень не в духе, такой угрюмый. Предупреждаю вас, знаете...

– Ах нет же, – отвечала княжна Марья. – Я просила вас никогда не говорить мне, в каком расположении духа батюшка. Я не позволяю себе судить его и не желала бы, чтобы и другие судили.

Княжна взглянула на часы и, заметив, что она уже пять минут пропустила то время, которое должна была употреблять для игры на клавикордах, с испуганным видом пошла в диванную. Между 12 и 2 часами, сообразно с заведенным порядком дня, князь отдыхал, а княжна играла на клавикордах.

XXXIV

Седой камердинер сидел, дремля, и прислушивался к храпению князя в огромном кабинете. Из дальней стороны дома, из-за затворенных дверей, слышались по двадцати раз повторяемые трудные пассажи Дюссековой сонаты.

В это время подъехала к крыльцу карета и бричка, и из кареты вышел князь Андрей, который учтиво, но холодно, как и всегда, высадил свою маленькую жену и пропустил ее вперед. Седой Тихон, в парике, высунувшись из двери официантской, шепотом доложил, что князь почивают, и торопливо затворил дверь. Тихон знал, что ни приезд сына и никакие необыкновенные события не должны были нарушать порядка дня. Князь Андрей, видимо, знал это так же хорошо, как и Тихон; он посмотрел на часы, как будто для того, чтобы поверить, не изменились ли привычки отца за то время, в которое он не видал его, и, убедившись, что они не изменились, обратился к жене:

– Через двадцать минут он встанет. Пройдем к княжне Марье, – сказал он.

Маленькая княгиня изменилась за это время. Возвышение ее талии сделалось значительно больше, она больше перегибалась назад и чрезвычайно потолстела, но глаза и короткая губка с усиками и улыбкой поднималась так же весело и мило, когда она заговорила.

– Да это дворец! – сказала она мужу, оглядываясь кругом с тем выражением, с каким говорят похвалы хозяину бала.

– Пойдемте скорее, скорее.

Она, оглядываясь, улыбалась и Тихону, и мужу, и официанту, провожавшему их.

– Это Мари играет? Тише, застанем ее врасплох.

Князь Андрей шел за ней с учтивым и грустным выражением.

– Ты постарел, Тихон, – сказал он, проходя, старику, целовавшему его руку, и обтер ее батистовым платком.

Перед комнатой, в которой слышны были клавикорды, из боковой двери выскочила хорошенькая белокурая француженка. Мадемуазель Бурьен казалась обезумевшею от восторга.

– Ах, какая радость для княжны, – заговорила она. – Наконец! Надо ее предупредить.

– Нет, нет, пожалуйста... Вы мадемуазель Бурьен; я уже знакома с вами по той дружбе, какую имеет к вам моя невестка, – говорила княгиня, целуясь с француженкой. – Она не ожидает нас.

Они подошли к двери диванной, из которой слышался опять и опять повторяемый пассаж. Князь Андрей остановился и поморщился, как будто ожидая чего-то неприятного.

Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине; послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев и мычания. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня, только раз на короткое время видевшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись крепко руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. Мадемуазель Бурьен стояла около них, прижав руки к сердцу и набожно улыбаясь, очевидно, столько же готовая заплакать, сколько и засмеяться. Князь Андрей пожал плечами и поморщился, как морщатся любители музыки, услышав фальшивую ноту. Обе женщины отпустили друг друга; потом опять, как будто боясь опоздать, схватили друг друга за руки, стали целовать и отрывать руки и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали и опять стали целоваться. Мадемуазель Бурьен тоже заплакала. Князю Андрею было очевидно неловко и совестно, но для двух женщин казалось так естественно, что они плакали; казалось, они и не предполагали, чтобы могло иначе совершиться это свидание.

– Ах, милая!.. Ах, Мари, – вдруг заговорили обе женщины и засмеялись. – А я видела во сне... – Так вы нас не ожидали?.. Ах, Мари, вы так похудели... – А вы так пополнили...

– Я тотчас узнала княгиню, – вставила мадемуазель Бурьен.

– А я и не подозревала, – восклицала княжна Марья. – Ах, Андрей, я и не видала тебя.

Князь Андрей поцеловался с сестрою рука в руку и сказал ей, что она такая же плакса, как всегда была. Княжна Марья повернулась к брату, и сквозь слезы любовный, теплый и кроткий взгляд ее прекрасных в ту минуту, больших лучистых глаз остановился на лице князя Андрея, так что, всегда дурная, сестра его показалась ему хороша в эту минуту. Но она в ту же минуту обратилась опять к золовке и молча стала пожимать ее руку.

Княгиня говорила без умолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрагивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестящая зубами и глазами улыбка. Княгиня рассказывала случай, который был с ними на Мценской горе, грозивший опасностью в ее положении, и сейчас же после этого сообщила, что она все платья свои оставила в Петербурге и здесь будет ходить бог знает в чем, и что Андрей совсем переменялся, и что Китти Одынцова вышла замуж за старика, и что есть жених для княжны Марьи вполне серьезный, но что об этом поговорим после. Княжна Марья все еще молча смотрела на жену брата, и в прекрасных глазах ее была и любовь и грусть, как будто она жалела эту молодую женщину и не могла ей высказать причину своего сожаления. Видно было, что в ней установился теперь свой ход мысли, независимый от речей невестки. Она, в середине ее рассказа о последнем празднике в Петербурге, обратилась к брату:

– И ты решительно едешь на войну, Андрей? – сказала она, вздохнув.

Лиза вздохнула тоже.

– Даже завтра, – отвечал брат.

– Он покидает меня здесь, и бог знает зачем, тогда как он мог бы получить повышение...

Княжна Марья не дослушала и, продолжая нить своих мыслей, обратилась к невестке, ласковыми глазами указывая на ее живот:

– И скоро? – сказала она.

Лицо княгини изменилось. Она вздохнула.

– Два месяца, – сказала она.

– И ты не боишься? – спросила княжна Марья, опять целуя ее. Князь Андрей поморщился при этом вопросе. Губка Лизы опустилась. Она приблизила свое лицо к лицу золовки и опять неожиданно заплакала.

– Ей надо отдохнуть, – сказал князь Андрей. – Не правда ли, Лиза? Сведи ее к себе, а я пойду к батюшке. Что он, все то же?

– То же, то же самое, не знаю, как на твои глаза, – отвечала радостно княжна.

– И те же часы, и по аллеям прогулки? Станок? – спрашивал князь Андрей с чуть заметною улыбкой, показывавшею, что, несмотря на всю свою любовь и уважение к отцу, он понимал его слабости.

– Те же часы, и станок, еще математика и мои уроки геометрии, – радостно отвечала княжна Марья, как будто ее уроки из геометрии были одним из самых радостных воспоминаний ее жизни.

XXXV

Когда прошли те двадцать минут, которые нужны были для срока вставанья старого князя, Тихон пришел звать молодого князя к отцу. Старик сделал исключение в своем образе жизни в честь приезда сына; он велел впустить его в свою половину во время одеванья перед обедом. Князь ходил по-старинному, в кафтане и пудре. И в то время как князь Андрей, – не с тем брюзгливым выражением лица и манерами, которые он напускал на себя в гостиных, а с тем оживленным лицом, которое у него было, когда он разговаривал с Пьером, входил к отцу, – старик сидел в уборной, на широком, сафьяном обитом кресле, в пудроманте, представляя свою голову рукам Тихона.

– А! Воин! Бонапарта завоевать хочешь?

Так встретил старик сына. Он тряхнул напудренной головой, сколько позволяла это заплетаемая коса, находившаяся в руках Тихона.

– Примись хоть ты за него хорошенько, а то он эдак скоро и нас своими подданными запишет... Здорово, – и он выставил свою щеку.

Старик находился в хорошем расположении духа после дообеденного сна. (Он говорил, что после обеда серебряный сон, а до обеда золотой.) Он радостно, из-под своих густых нависших бровей, косился на сына. Князь Андрей подошел и поцеловал отца в указанное им место. Он не отвечал на любимую тему разговора отца – подтруниванье над теперешними военными людьми, а особенно над Бонапартом.

– Да, приехал к вам, батюшка, и с беременною женой, – сказал князь Андрей, следя оживленными и почтительными глазами за движением каждой черты отцовского лица. – Как здоровье ваше?

– Нездоровы, брат, бывают только дураки да развратники, а ты меня знаешь, с утра до вечера занят, воздержан, ну и здоров.

– Слава Богу, – сказал сын, улыбаясь.

– Бог тут ни при чем. Ну, рассказывай, – продолжал он, возвращаясь к своему любимому коньку, – как вас немцы с Бонапартом сражаться по вашей новой науке, стратегией называемой, научили.

Князь Андрей улыбнулся.

– Дайте опомниться, батюшка, – сказал он с улыбкою, показывавшею, что слабости отца не мешают ему уважать и любить его. – Ведь я еще и не разместился.

– Врешь, врешь, – закричал старик, встряхивая косичкою, чтобы попробовать, крепко ли она была заплетена, и хватая сына за руку. – Дом для твоей жены готов. Княжна Марья сведет ее и покажет, и с три короба наболтает. Это их бабье дело. Я ей рад. Сиди, рассказывай. Михельсона армию я понимаю. Толстого тоже... высадка единовременная... Южная армия что будет делать? Пруссия, нейтралитет... это я знаю. Австрия что? – так он говорил, встав с кресла и ходя по комнате с бегавшим и подававшим части одежды Тихоном. – Швеция что? Как Померанию перейдут?

Князь Андрей, видя настоятельность требования отца, сначала неохотно, но потом все более и более оживляясь и невольно посреди рассказа по привычке перейдя с русского на французский язык, начал излагать операционный план предполагаемой кампании. Он рассказал, как девяностотысячная армия должна была угрожать Пруссии, чтобы вывести ее из нейтралитета и втянуть в войну, как часть этих войск должна была в Штральзунде соединиться с шведскими войсками, как двести двадцать тысяч австрийцев в соединении со ста тысячами русских должны были действовать в Италии и на Рейне, и как пятьдесят тысяч русских и пятьдесят тысяч англичан высадутся в Неаполе, и как в итоге пятисоттысячная армия должна была с разных сторон сделать нападение на французов. Старый князь не выказал ни малейшего инте-

реса при рассказе, как будто не слушал, и, продолжая на ходу одеваться, три раза неожиданно прервал его. Один раз он остановил его и закричал:

– Белый, белый!

Это значило, что Тихон подавал ему не тот жилет, который он хотел. Другой раз он остановился, спросив:

– И скоро она родит? – И получив ответ, что скоро, с упреком покачал головой и сказал: – Нехорошо! Продолжай, продолжай.

В третий раз, когда князь Андрей оканчивал описание, старик запел фальшивым и старческим голосом: «Мальбрук в поход собрался. Бог знает, вернется когда». Сын только улыбнулся.

– Я не говорю, чтоб это был план, который я одобряю, – сказал сын, – я вам только рассказал, что есть. Наполеон уже составил свой план не хуже этого.

– Ну, новенького ты мне ничего не сказал. – И он задумчиво проговорил про себя скороговоркой: – «Бог знает, вернется когда». Иди в столовую.

Князь Андрей вышел. О своих делах отец с сыном ничего не говорили.

В назначенный час, напудренный, свежий, выбритый, князь вышел в столовую, где ожидали его невестка, княжна Марья, Бурьен и архитектор князя, по странной прихоти его допущавшийся к столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак не мог рассчитывать на такую честь. Князь, твердо державшийся в жизни различия состояний и редко допуская к столу даже важных губернских чиновников, вдруг на архитекторе Михаиле Ивановиче, сморкавшемся в углу в клетчатый платок, доказывал, что все люди равны, и не раз внушал своей дочери, что Михаила Иванович ничем не хуже нас с тобой. За столом, когда он излагал свои, иногда странные, идеи, он чаще всего обращался к бессловесному Михаилу Ивановичу.

В столовой, громадно-высокой, как и все комнаты в доме, ожидали выхода князя домашние и официанты, стоявшие за каждым стулом; дворецкий, с салфеткой на руке, оглядывал сервировку, мигая лакеям, и постоянно перебегал беспокойным взглядом от стенных часов к двери, из которой должен был появиться князь. Князь Андрей глядел на огромную, новую для него, золотую раму с изображением генеалогического дерева князей Болконских, висевшую напротив такой же громадной рамы с дурно сделанным (видимо, рукою домашнего живописца) изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода Болконских. Князь Андрей смотрел на это генеалогическое дерево, покачивая головой, и посмеивался с тем видом, с каким смотрят на похожий до смешного портрет.

– Как я узнаю его всего тут, – сказал он княжне Марье, подошедшей к нему.

Княжна Марья с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Все, сделанное ее отцом, возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению.

– У каждого своя Ахиллесова пятка, – продолжал князь Андрей. – С его огромным умом поддаваться этой мелочности...

Княжна Марья не могла понять смелости суждения своего брата и готовилась возражать ему, как послышались из кабинета ожидаемые шаги: князь входил быстро, беспорядочно, весело, как он и всегда ходил, как будто умышленно своими торопливыми манерами представляя противоположность строгому порядку дома. В то же мгновение большие часы пробили два, и тонким голоском отозвались в гостиной другие; князь остановился, из-под висячих густых бровей оживленные, блестящие, строгие глаза оглядели всех и остановились на молодой княгине. Молодая княгиня испытывала в то время то чувство, какое испытывают придворные на царском выходе, то чувство страха и почтения, которое возбуждал этот старик во всех своих приближенных. Он погладил княгиню по голове и потом потрепал ее по затылку неловким движением, но таким, которому она чувствовала себя обязана подчиниться.

– Я рад, я рад, – проговорил он и, пристально еще взглянув ей в глаза, быстро отошел и сел на свое место.

– Садитесь, садитесь! Михаил Иванович, садитесь.

Он указал невестке место подле себя, официант отодвинул для нее стул. Ей было тесно от беременности.

– Го, го! – сказал старик, оглядывая ее округленную талию. – Поторопилась, нехорошо.

Он засмеялся сухо, холодно, неприятно, как он всегда смеялся, одним ртом, а не глазами.

– Ходить надо, ходить как можно больше, как можно больше, – сказал он.

Маленькая княгиня не слыхала или не хотела слышать его слов. Она молчала и казалась смущенною. Князь спросил ее об отце, и княгиня заговорила и улыбнулась. Он спросил ее об общих знакомых, княгиня еще более оживилась и стала рассказывать, передавая князю поклоны и городские сплетни. Как только разговор касался того, что было, княгине, видимо, становилось легко и ловко.

– Княгиня Апраксина, бедняжка, потеряла своего мужа и выплакала все глаза, – говорила она, все более и более оживляясь.

По мере того как она оживлялась, князь все строже и строже смотрел на нее и вдруг, как будто достаточно изучив ее и составив себе ясное о ней понятие, отвернулся от нее и обратился к Михайлу Ивановичу.

XXXVI

– Ну что, Михайла Иваныч, Бонапарту-то нашему плохо приходится. Как мне князь Андрей (он всегда так называл сына в третьем лице) порассказал, какие на него силы собираются! А мы с вами все его пустым человеком считали.

Михаил Иванович, решительно не знавший, когда это мы с вами говорили такие слова о Бонапарте, но понимавший, что он был нужен для вступления в любимый разговор, удивленно взглянул на молодого князя, сам не зная, что из этого выйдет.

– Он у меня тактик великий! – сказал князь сыну, указывая на архитектора, и разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и нынешних генералах и государственных людях. Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, не смыслившие и азбуки военного и государственного дела, и что Бонапарт был ничтожный французишка, имевший успех только потому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему; но он был убежден даже, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело. Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца над новыми людьми и с видимою радостью вызывал отца на разговор и слушал его.

– Все кажется хорошим, что было прежде, – сказал он, – а разве тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро, и не умел из нее выпутаться?

– Это кто тебе сказал? Кто сказал? – крикнул князь. – Суворов! – И он отбросил тарелку, которую живо подхватил Тихон. – Суворов!.. Два, Фридрих и Суворов... Моро! Моро был бы в плену, коли у Суворова руки свободны были, а у него на руках сидели хофс-кригс-вурст-шнапс-рат. Ему черт не рад. Вот пойдите, эти хофс-кригс-вурст-раты узнаете. Суворов с ними не сладил, так уж где ж Михайле Кутузову сладить? Нет, дружок, – продолжал он, – вам с своими генералами против Бонапарта не обойтись, надо французов взять, чтобы своя своих не познаша, и своя своих побиваша. Немца Палена в Новый Йорк, в Америку, за французом Моро послали, – сказал он, намекая на приглашение, которое в этом году было сделано Моро вступить в русскую службу. – Чудеса!.. Что, Потемкины, Суворовы, Орловы разве немцы были? Нет, брат, либо вы все там с ума сошли, либо я из ума выжил. Дай вам Бог, а мы посмотрим. Бонапарт у них стал полководец великий! Гм!

– Я ничего не говорю, чтобы все распоряжения были хороши, – сказал князь Андрей, – только я не могу понять, как вы можете так судить о Бонапарте. Смейтесь, как хотите, а Бонапарт величайший полководец!

– Михайла Иваныч! – закричал старый князь архитектору, который, занявшись жарким, надеялся, что про него забыли. – Я вам говорил, что Бонапарт великий тактик? Вот и он говорит.

– Как же, ваше сиятельство, – отвечал архитектор.

Князь опять засмеялся своим холодным смехом.

– Бонапарт в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Это так.

И князь начал разбирать все ошибки, которые, по его понятиям, делал Бонапарт во всех своих войнах и даже в государственных делах. Сын не возражал, но видно было, что какие бы доводы ему ни представляли, он так же мало способен был изменить свое мнение, как и старый князь. Князь Андрей слушал, удерживаясь от возражений и невольно удивляясь, как мог этот старый человек, сидя столько лет один безвыездно в деревне, в таких подробностях и с такою тонкостью знать и обсудить все военные и политические обстоятельства Европы последних годов.

– Ты думаешь, я, старик, не понимаю настоящего положения дел? – заключил он. – А мне оно вот где. Я ночей не сплю. Ну, где же этот великий полководец твой-то, где он показал себя?

– Это длинно было бы, – отвечал сын.

– Ступай же ты к Бонапарту своему! Мадемуазель Бурьен, вот еще поклонник вашего холопского императора, – закричал он отличным французским языком.

– Вы знаете, князь, что я не бонапартистка.

– «Бог знает, вернется когда...» – пропел князь фальшиво, еще фальшивее засмеялся и вышел из-за стола.

Маленькая княгиня во все время спора и остального обеда молчала и испуганно поглядывала то на княжну Марью, то на свекра. Когда они вышли из-за стола, она взяла за руку золовку и отозвала ее в другую комнату.

– Какой умный человек ваш батюшка, – сказала она. – Может быть, от этого-то я и боюсь его.

– Ах, он так добр! – сказала княжна.

XXXVII

Князь Андрей уезжал на другой день вечером. Старый князь, не отступая от своего порядка, после обеда ушел к себе. Маленькая княгиня была у золовки. Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без эполет, в отведенных ему покоях укладывался с своим камердинером. Сам осмотрев коляску и укладку чемоданов, он велел закладывать. В комнате оставались только те вещи, которые князь Андрей всегда брал с собой: шкатулка, большой серебряный погребец, два турецких пистолета и шашка, подарок отца, привезенная из-под Очакова. Все эти дорожные принадлежности были в большом порядке у князя Андрея: все было ново, чисто, в суконных чехлах, старательно завязано тесемочками.

В минуты отъезда и перемены жизни на людей, способных обдумывать свои поступки, обыкновенно находит серьезное настроение мыслей. В эти минуты обыкновенно поверяется прошедшее и делаются планы будущего. Лицо князя Андрея было очень задумчиво и нежно. Он, заложив руки назад и поворачиваясь с несвойственным ему искренним жестом, быстро ходил по комнате из угла в угол; глядя вперед себя, он задумчиво покачивал головой. Страшно ли ему было идти на войну, грустно ли бросить жену, — может быть, и то и другое. Только, видимо, не желая, чтоб его видели в таком положении, он остановился, когда услышал шаги в сенях, торопливо высвободил руки, остановился у стола, как будто увязывая чехол шкатулки, и принял свое всегдашнее спокойное и непроницаемое выражение. Это были тяжелые шаги княжны Марьи.

— Мне сказали, что ты велел закладывать, — сказала она, запыхавшись (она, видно, бежала), — а мне так хотелось еще поговорить с тобой наедине. Бог знает, на сколько времени опять расстаемся. Ты не сердись, что я пришла? Ты очень переменялся, Андрюша, — прибавила она, как бы в объяснение такого вопроса.

Она улыбнулась, произнося слово «Андрюша». Видно, ей самой было странно подумать, что этот строгий, красивый мужчина был тот самый Андрюша, курчавый, шаловливый мальчик, товарищ детства.

— А где Лиза? — спросил он.

— Она так устала, что заснула у меня в комнате на софе. Андрей! Какое сокровище твоя жена, — сказала она, усаживаясь на диване против брата. — Она совершенный ребенок, такой милый, веселый ребенок. Я так ее полюбила.

Князь Андрей молчал, но княжна заметила ироническое и презрительное выражение, появившееся на его лице.

— Но надо быть снисходительным к маленьким слабостям; у кого их нет, Андрей! Ты не забудь, что она воспитана и выросла в большом свете. А потом ее положение теперь не розовое. Надобно входить в положение каждого. Все понять — все простить. Ты подумай, каково ей, бедняжке, после жизни, к которой она привыкла, расстаться с мужем и остаться одной в деревне и в ее положении? Это очень тяжело.

Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам кажется, что мы насквозь видим.

— Ты живешь в деревне и не находишь эту жизнь ужасною, — сказал он.

— Я другое дело. Что обо мне говорить? Я не желаю другой жизни, да и не могу желать, потому что не знаю никакой другой жизни. А ты подумай, Андрей, для молодой и светской женщины похорониться в лучшие годы жизни в деревне, одной, потому что папенька всегда занят, а я... ты меня знаешь... как я бедна интересами для женщины, привыкшей к лучшему обществу. Мадемуазель Бурьен одна...

— Она мне очень не нравится, ваша Бурьен, — сказал князь Андрей.

– О нет, она очень милая и добрая и, главное, жалкая девушка. У нее никого, никого нет. По правде сказать, мне она не только не нужна, но стеснительна. Я, ты знаешь, и всегда была дикарка, а теперь еще больше. Я люблю быть одна... Отец ее очень любит. Она и Михаил Иванович, два лица, к которым он всегда ласков и добр, потому что они оба благодетельствованы им; как говорит Стерн: «Мы не столько любим людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за то добро, которое мы им сделали». Отец взял ее сиротой на мостовой, и она очень добрая. И отец любит ее манеру чтения. Она по вечерам читает ему вслух. Она прекрасно читает.

– Ну, а по правде, Марья, тебе, я думаю, тяжело иногда бывает от характера отца? – вдруг спросил князь Андрей.

Княжна Марья сначала удивилась, потом испугалась этого вопроса.

– Мне?.. Мне?.. Чего мне желать? – сказала она, видимо, от всей души.

– Он и всегда был крут, а теперь тяжел становится, я думаю, – сказал князь Андрей, видимо, нарочно, чтобы озадачить или испытать сестру, так легко отзываясь об отце.

– Ты всем хорош, Андрей, но у тебя есть какая-то гордость мысли, – сказала княжна, как всегда больше следуя за своим ходом мыслей, чем за ходом разговора, – и это большой грех. Разве можно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, какое другое чувство, кроме глубокого уважения, может возбудить такой человек, как наш отец? И я так довольна и счастлива с ним. Я только желала бы, чтобы вы все были счастливы, как я.

Брат недоверчиво покачал головой.

– Одно, что тяжело для меня, – я тебе по правде скажу, Андрей, – это образ мыслей отца в религиозном отношении. Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно как день, и может так заблуждаться? Вот это составляет одно мое несчастье. Но и тут в последнее время я вижу тень улучшения. В последнее время его насмешки не так язвительны, и есть один монах, которого он принимал и долго говорил с ним.

– Ну, я боюсь, что вы с монахом даром растрчиваете свой порошок, Маша, – насмешливо, но ласково сказал князь Андрей.

– Ах, мой друг! Я только молюсь Богу и надеюсь, что он услышит меня. Андрей! – сказала она робко после минуты молчания.

– У меня к тебе есть большая просьба.

– Что, милая?

– Нет, обещай мне, что ты не откажешь. Это тебе не будет стоить никакого труда, и ничего недостойного тебя в этом не будет. Только ты меня утетишь. Обещай, Андрюша, – сказала она, всунув руку в ридикюль и в нем держа что-то, но еще не показывая, как будто то, что она держала, и составляло предмет просьбы, и что прежде получения обещания в исполнении просьбы она не могла вынуть из ридикюля это что-то. Она робко, умоляющим взглядом смотрела на брата.

– Ежели бы это и стоило мне большого труда... – как будто догадываясь, в чем было дело, отвечал князь Андрей.

– Ты что хочешь думай. Я знаю, ты такой же, как и отец. Что хочешь думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста! Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах. – Она все еще не доставала того, что держала, из ридикюля. – Так ты обещаешь мне?

– Конечно, в чем дело?

– Андрей, я тебя благословлю образом, и ты обещай мне, что никогда его не будешь снимать. Обещаешь?

– Ежели он не в два пуда и шеи не оттянет. Чтобы тебе сделать удовольствие, – сказал князь Андрей, но в ту же секунду, заметив огорченное выражение, которое приняло лицо сестры при этой шутке, он раскаялся. – Очень рад, право, очень рад, мой друг, – прибавил он.

– Против твоей воли Он спасет и помилует тебя и обратит тебя к себе, потому что в Нем одном и истина и успокоение, – сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом держа в обеих руках перед братом овальный старинный образок Спасителя с черным ликом, в серебряной ризе, на серебряной цепочке мелкой работы. Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею.

– Пожалуйста, для меня...

Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное, худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно (он был тронут), любовно, ласково и насмешливо.

– Спасибо, мой друг, – она поцеловала его в чистый коричневатый лоб и опять села на диван.

Они помолчали.

– Так я тебе говорила, Андрей, будь добр и великодушен, каким ты всегда был. Не суди строго Лизу, – начала она. – Она так мила, так добра, и положение ее очень тяжело теперь.

– Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтоб я упрекал в чем-нибудь свою жену или был недоволен ею. К чему ты все это говоришь мне?

Княжна Марья покраснела пятнами и замолчала, как будто она чувствовала себя виноватою.

– Я ничего не говорил тебе, а тебе уж говорили. И мне это грустно.

Красные пятна еще сильнее выступили на лбу, шее и щеках княжны Марьи. Она хотела сказать что-то и не могла выговорить. Брат угадал. Маленькая княгиня после обеда плакала, говорила, что предчувствует несчастные роды, боится их, и жаловалась на свою судьбу, на свекра и на мужа. После слез она заснула. Князю Андрею жалко стало сестру.

– Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не упрекну мою жену, и сам ни в чем себя не могу упрекнуть в отношении к ней, и это всегда так будет, в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать правду... хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю...

Говоря это, он встал, подошел к сестре, и нагнувшись, поцеловал ее в лоб. Прекрасные глаза его светились умным и добрым непривычным блеском, но он смотрел не на сестру, а в темноту отворенной двери, через ее голову.

– Пойдем к ней, надо проститься. Или иди одна, разбуди ее, а я сейчас приду. Петрушка! – крикнул он камердинеру. – Поди сюда, убирай. Это в сиденье, это на правую сторону.

Княжна Марья встала и направилась к двери. Она остановилась.

– Если бы ты имел веру, то обратился бы к Богу с молитвою, чтобы он даровал тебе любовь, которую ты не чувствуешь, и молитва твоя была бы услышана.

– Да, разве это? – сказал князь Андрей. – Иди, Маша, я сейчас приду.

По дороге к комнате сестры, в галерее, соединявшей один дом с другим, князь Андрей встретил мило улыбающуюся мадемуазель Бурьен, в третий раз в этот день с восторженной и наивною улыбкой попадавшуюся ему в уединенных переходах.

– Ах, я думала, вы у себя, – сказала она, почему-то краснея и опуская глазки. Князь Андрей строго посмотрел на нее. – А я люблю эту галерею, здесь так таинственно.

На лице князя Андрея вдруг выразилось озлобление, как будто она и ей подобные были виною какого-нибудь несчастья в его жизни. Он ничего не сказал ей, но посмотрел на ее лоб и волосы, не глядя в глаза, так презрительно, что француженка покраснела и ушла, ничего не сказав.

Когда он подошел к комнате сестры, княгиня уже проснулась, и ее веселый голосок, торопивший одно слово за другим, послышался из отворенной двери. Она говорила, как будто после долгого воздержания ей хотелось вознаградить потерянное время.

– Нет, представьте себе, старая графиня Зубова с фальшивыми локонами, с фальшивыми зубами, как будто издеваясь над годами... Ха-ха-ха.

Точно ту же фразу о графине Зубовой и тот же смех уже раз пять слышал при посторонних князь Андрей от своей жены. Он тихо вошел в комнату. Княгиня, толстенькая, румяная, с работой в руках, сидела на кресле и без умолку говорила, перебирая петербургские воспоминания и даже фразы. Князь Андрей подошел, погладил ее по голове и спросил, отдохнула ли она от дороги. Она ответила и продолжала тот же разговор.

Коляска шестериком стояла у подъезда. На дворе была теплая осенняя ночь. Кучер не видал дышла коляски. На крыльце сустились люди с фонарями. Красивый огромный дом горел огнями сквозь свои большие окна. В передней толпились дворовые, желавшие проститься с молодым князем; в зале стояли все домашние: Михаил Иванович, мадемуазель Бурьен, княжна Марья и княгиня. Князь Андрей был позван в кабинет к отцу, который с глазу на глаз хотел проститься с ним. Все ждали их выхода.

Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся.

– Едешь? – и опять стал писать.

– Пришел проститься.

– Целуй сюда, – показал щеку, – спасибо, спасибо.

– За что вы меня благодарите?

– За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо! – И он продолжал писать, так что брызги летели с трещающего пера. – Ежели нужно сказать что, говори. Эти два дела могу делать вместе, – прибавил он.

– О жене... Мне и так совестно, что я вам на руки оставляю беременную...

– Что врешь? Говори, что нужно.

– Когда жене будет время родить, в последних числах ноября, пошлите в Москву за акушером... Чтоб он тут был.

Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына.

– Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет, – говорил князь Андрей, видимо смущенный. – Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видала, и она боится.

– Гм... гм... – проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. – Сделаю. – Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся. – Плохо дело, а?

– Что плохо, батюшка?

– Жена! – коротко и значительно сказал старый князь.

– Я не понимаю, – сказал князь Андрей.

– Да нечего делать, дружок, – сказал князь, – они все такие, не разженишься. Ты не бойся, никому не скажу, а ты сам знаешь.

Он схватил его за руку своею костлявою маленькою кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом.

Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма, с своею привычною быстротой схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу.

– Что делать? Красива! Я все сделаю. Ты будь покоен, – говорил он отрывисто во время печатания.

Андрей молчал; ему приятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну.

– Слушай, – сказал он, – о жене не заботься: что возможно сделать, будет сделано. Теперь слушай: письмо Михаилу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтобы он тебя в хорошие места упо-

треблял и долго адъютантом не держал. Скверная должность. Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда.

Он говорил такую скороговоркою, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь.

– Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки, их государю передать после моей смерти. Теперь здесь вот ломбардный билет и письмо. Это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки, после меня читай для себя, найдешь пользу.

Андрей не сказал отцу, что верно он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно.

– Все исполню, батюшка, – сказал он.

– Ну, теперь прощай. – Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. – Помни одно, князь Андрей, – коли тебя убьют, мне старику больно будет... – Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: – А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет стыдно.

– Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка, – улыбаясь, сказал сын.

Старик замолчал.

– Еще я хотел просить вас, – продолжал князь Андрей, – ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтоб он вырос у вас, пожалуйста.

– Жене не отдавать? – сказал старик и радостно засмеялся.

Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя.

– Простись ступай, – вдруг заговорил он. – Ступай! – закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета.

– Что такое, что? – спрашивали княгиня и княжна, увидев князя Андрея и на минуту высунувшуюся фигуру кричавшего сердитым голосом старика в белом халате, без парика и в стариковских очках.

Князь Андрей вздохнул во всю грудь и ничего не отвечал.

– Ну, – сказал он, обратившись к жене, и это «ну» звучало холодною насмешкою, как будто он говорил: теперь проделывайте ваши штуки.

– Андрей, уже? – сказала маленькая княгиня, оледенев и со страхом глядя на мужа. Он обнял ее. Она вскрикнула и без чувств упала на его плечо.

Он осторожно отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и бережно посадил ее на кресло.

– Прощай, Мари, – сказал он тихо сестре, поцеловался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты.

Княгиня лежала в кресле, мадемуазель Бурьен терла ей виски. Княжна Марья, поддерживая невестку, с заплаканными прекрасными глазами, все еще смотрела в дверь, в которую вышел князь Андрей, и крестила его.

Из кабинета слышны были, как выстрелы, часто повторяемые, сердитые звуки стариковского сморкания. Только что князь Андрей вышел, дверь кабинета быстро отворилась, и выглянула строгая фигура старика в белом халате.

– Уехал? Ну и хорошо, – сказал он, сердито посмотрев на бесчувственную маленькую княгиню, укоризненно покачал головою и захлопнул дверь.

Часть вторая

I

В октябре 1805 года русские войска занимали села и города эрцгерцогства Австрийского, и еще новые полки приходили из России и, отягощая постоем жителей, располагались у крепости Браунау. В Браунау была главная квартира Кутузова.

8 октября 1805 года один из только что пришедших в Браунау пехотных полков, ожидая смотря главнокомандующего, стоял в полумиле от города. Несмотря на нерусскую местность и обстановку – фруктовые сады, каменные ограды, черепичные крыши, горы, видневшиеся вдаль, – на нерусский народ, с любопытством смотревший на солдат, полк имел точно такой же вид, какой имел всякий русский полк, готовившийся к смотру где-нибудь в середине России. Тяжелые солдаты в мундирах с высоко поднятыми ранцами и перекинутыми через плечо шинелями, и легкие офицеры в мундирах с бившими по ногам шпажками, оглядывая вокруг себя свои знакомые ряды, сзади свои знакомые обозы, спереди еще более знакомые, приглядевшиеся фигуры начальства и еще дальше впереди – коновязи уланского полка и парк батареи, шедшие весь поход вместе с ними, чувствовали себя здесь так же дома, как и в каком бы то ни было уезде России.

С вечера, на последнем переходе, был получен приказ, что главнокомандующий будет смотреть полк на походе. Хотя слова приказа и показались не ясны полковому командиру и возник вопрос, как разуместь слова приказа: в походной форме или нет, – в совете батальонных командиров было решение представить полк в парадной форме на том основании, что всегда лучше перекланяться, чем недокланяться, и солдаты, после тридцативерстного перехода, не смыкали глаз, всю ночь чинились, чистились, адъютанты и ротные рассчитывали, отчисляли, и к утру полк, вместо растянутой грязной толпы, какою он был накануне на последнем переходе, представлял стройную массу 3000 людей, из которых каждый знал свое место, свое дело и из которых на каждом каждая пуговка и ремешок были на своем месте и блестели чистотой. Не только наружное было исправно, но ежели бы угодно было главнокомандующему заглянуть под мундиры, то на каждом он увидал бы одинаково чистую рубаху и в каждом ранце нашел бы законное число вещей, «шилцы и мыльце», как говорят солдаты. Было только одно обстоятельство, насчет которого никто не мог быть спокоен. Это была обувь. Больше чем у половины людей сапоги были разбиты, и, как ни подшивались эти недостатки, они кололи привычные к порядку военные глаза. Но недостаток этот происходил не от вины полкового командира, так как, несмотря на неоднократные требования, ему не был отпущен товар от австрийского ведомства, а полк прошел 3000 верст.

Полковой командир был пожилой, сангвинический, с седеющими бровями и бакенбардами генерал, плотный и широкий больше от груди к спине, чем от одного плеча к другому. На нем был новый, с иголочки, со слежавшимися складками мундир и густые золотые эполеты, которые как будто не книзу направлялись, а поднимали вверх его тучные плечи. Полковой командир имел вид человека, счастливо совершающего одно из самых торжественных дел жизни. Он похаживал перед фронтом и, похаживая, подрагивал на каждом шагу, слегка изгибаясь спиной. Видно было, что полковой командир любит свой полк, счастлив им и что все его силы душевные заняты только полком; но, несмотря на то, его подрагивающая походка как будто говорила, что, кроме военных интересов, в душе его немалое место занимают и интересы общественного быта и женский пол.

– Ну, батюшка, Миколай Митрич, – обратился он с притворною небрежностью к одному батальонному командиру (батальонный командир, улыбаясь, подался вперед. Видно было, что

они были счастливы). – Ну, батюшка, Миколай Митрич, досталось на орехи нынче ночью (он подмигнул). Однако, кажется, ничего (он оглянул полк), кажется, полк не из дурных. А? – Он, видимо, иронически говорил это.

Батальонный командир понял веселую иронию и засмеялся.

– И на Царицыном лугу с поля бы не прогнали. Что? – смеясь, сказал полковой командир.

В это время по дороге из города, по которой были расставлены махальные, показались два верховые. Это были адъютант и казак, ехавший сзади. Полковой командир взгляделся в адъютанта и отвернулся, под видом равнодушия скрывая тревогу, которую вызвало в нем это появление. Он оглянулся только тогда, как адъютант был уже в трех шагах от него, и с тем особенным оттенком учтивости и вместе фамильярности, с каким обращаются полковые командиры с молодыми по годам и чину офицерами, состоящими при главнокомандующих, приготовился выслушать адъютанта.

Адъютант был прислан из главного штаба подтвердить полковому командиру то, что было сказано неясно во вчерашнем приказе, а именно то, что главнокомандующий желал видеть полк совершенно в том положении, в котором он шел, в шинелях, в чехлах и безо всяких приготовлений.

К Кутузову накануне прибыл член гофкригсрата из Вены с предложениями и требованиями идти как можно скорее на соединение с армией эрцгерцога Фердинанда и Макка, и Кутузов, не считавший выгодным это соединение, в числе прочих доказательств, в пользу своего мнения, намеревался показать австрийскому генералу то печальное положение, в котором приходили войска из России.

С этой целью он и хотел выехать навстречу полку, так что, чем хуже было бы положение полка, тем приятнее было бы это главнокомандующему. Хотя адъютант и не знал этих подробностей, однако он передал полковому командиру непременно требование главнокомандующего, чтобы люди были в шинелях и чехлах, а что в противном случае главнокомандующий будет недоволен. Выслушав эти слова, полковой командир опустил голову, молча вздернул плечами и сангвиническим жестом развел руки.

– Наделали дела, – проговорил он, не поднимая головы. – Вот я вам говорил же, Миколай Митрич, я говорил, что на походе, так в шинелях, – обратился он с упреком к батальонному командиру. – Ах, мой Бог! – прибавил он, но в словах и жесте его не выразалось ни тени досады, а одно усердие к начальству и страх не угодить ему. Он решительно выступил вперед. – Господа ротные командиры! – крикнул он голосом, привычным к команде. – Фельдфебелей!.. Скоро ли пожалуют? – обратился он к приехавшему адъютанту с выражением почтительной учтивости, видимо, относившейся к лицу, про которое он говорил.

– Через час, я думаю.

– Успеем переодеть?

– Не знаю, генерал...

Полковой командир, сам подойдя к рядам, распорядился переодеванием опять в шинели. Ротные командиры разбежались по ротам, фельдфебели засуетились (шинели были не совсем исправны), и в то же мгновение заколыхались, растянулись и говором загудели прежде правильные молчаливые четырехугольники. Со всех сторон отбегали и подбегали солдаты, подкидывали сзади плечом, через голову перетаскивали ранцы, снимали шинели и, высоко поднимая руки, натягивали их в рукава.

Через полчаса все опять пришло в прежний порядок, только четырехугольники сделались серыми из черных. Полковой командир, опять подрагивающе походкой, вышел вперед полка и издалека оглядел его.

– Это что еще? Это что! – прокричал он, останавливаясь и загнutoю внутрь рукой хватаясь за темляк. – Командира третьей роты к генералу! Командира к генералу! Третьей роты к командиру!.. – слышались голоса по рядам, и адъютант побежал отыскивать замешкавшие

гося офицера. Когда звуки усердных голосов, перевирая, крича уже: «генерал в третью роту», дошли по назначению, требуемый офицер показался из-за роты, и хотя человек уже пожилой и не имевший привычки бегать, неловко цепляясь носками, рысью направился к генералу. Лицо капитана выражало беспокойство школьника, которому велят сказать не выученный им урок. На красном, очевидно, от невозддержания носу выступили пятна, и рот не находил положения. Полковой командир с ног до головы осматривал капитана, в то время как он, запыхавшись, подходил, по мере приближения сдерживая шаг.

– Вы скоро людей в сарафаны нарядите? Это что? – крикнул полковой командир, выдвигая нижнюю челюсть и указывая в рядах третьей роты на солдата в шинели цвета фабричного сукна, отличавшегося от других шинелей. – Сами вы где находились? Когда ожидается главнокомандующий, вы отходите от своего места? А?.. Я вас научу, как на смотр людей в казаки одевать!.. А?..

Ротный командир, не спуская глаз с начальника, все больше и больше прижимал свои два пальца к козырьку, как будто в одном этом прижимании он видел теперь свое спасенье. Батальонные командиры и адъютанты стояли несколько сзади и не знали, куда смотреть.

– Ну, что ж вы молчите? Кто у вас там в венгерца наряжен, – строго шутил полковой командир.

– Ваше превосходительство...

– Ну, что «ваше превосходительство»? Ваше превосходительство, ваше превосходительство! А что ваше превосходительство, никому не известно.

– Ваше превосходительство, это Долохов, разжалованный... – сказал тихо капитан и с таким выражением, как будто для разжалованного могло быть допущено исключение.

– Что, он в фельдмаршалы разжалован, что ли, или в солдаты? А солдат, так должен быть одет, как все, по форме.

– Ваше превосходительство, вы сами разрешили ему походом.

– Разрешил? Разрешил? Вот вы всегда так, молодые люди, – сказал полковой командир, остывая несколько. – Разрешил? Вам что-нибудь скажешь, а вы и... Что? – сказал он, снова раздражаясь. – Извольте одеть людей прилично.

И полковой командир, оглянувшись на адъютанта, своею подрагивающею походкой, выражавшею все-таки не безучастие к прекрасному полу, направился к полку. Видно было, что его раздражение ему самому понравилось и что он, пройдясь по полку, хотел найти еще предлог своему гневу. Оборвав одного офицера за невычищенный знак, другого за неправильность ряда, он подошел к третьей роте.

– К-а-а-ак стоишь? Где нога? Нога где? – закричал полковой командир с выражением страдания в голосе, еще человек за пять не доходя до солдата, одетого в синеватую шинель.

Солдат этот, отличавшийся от других свежестью лица и в особенности шеи, медленно выпрямил согнутую ногу и прямо своим светлым и наглым взглядом посмотрел в лицо генерала.

– Зачем синяя шинель? Долой!.. Фельдфебель! Переодеть его... дря... – он не успел договорить.

– Генерал, я обязан исполнять приказания, но не обязан переносить... – горячо и поспешно сказал солдат.

– Во фронте не разговаривать!.. Не разговаривать, не разговаривать!..

– Не обязан переносить оскорбления, – громко, звучно сказал Долохов с выражением неестественной торжественности, которая неприятно поразила всех слышавших. Глаза генерала и солдата встретились. Генерал замолчал, сердито оттягивая книзу тугой шарф.

– Извольте переодеться, прошу вас, – сказал он, отходя.

II

– Едет! – закричал в это время махальный.

Полковой командир, покраснев, подбежал к лошади, дрожащими руками взялся за стремя, перекинул тело, оправился, вынул шпагу и с счастливым решительным лицом, набок раскрыв рот, приготовился крикнуть. Полк встрепенулся, как оправляющаяся птица, и замер.

– Смир-р-р-на! – закричал полковой командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальнику.

По широкой, обсаженной деревьями, большой бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибкою рысью ехала высокая голубая венская коляска цугом, за коляской скакали свита и конвой кроатов. Подле Кутузова сидел австрийский генерал в странном, среди черных русских, белом мундире. Коляска остановилась у полка. Кутузов и австрийский генерал о чем-то тихо говорили, и Кутузов слегка улыбнулся, в то время как, тяжело ступая, опускал ногу с подножки. Точно как будто и не было этих трех тысяч людей, которые не дыша смотрели на него и на полкового командира.

Раздался крик команды, опять полк, звеня, дрогнул, сделав на караул. В мертвой тишине раздался слабый голос главнокомандующего. Полк рывкнул: «Здравья желаем, ваше го-го-го-го-ство!» И опять все замерло. Сначала Кутузов стоял на одном месте, пока полк двигался, потом Кутузов рядом с белым генералом пешком, сопровождаемый свитою, стал ходить по рядам.

По тому, как полковой командир салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь, как наклоненный вперед ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение, как подскакивал при каждом слове и движении главнокомандующего, – видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с большим наслаждением, чем обязанности начальника. Полк, благодаря строгости и старательности полкового командира, был в прекрасном состоянии сравнительно с другими, приходившими в то же время в Браунау. Отсталых и больных было только 217 человек. На вопрос начальника штаба о нуждах полка полковой командир, нагибаясь, осмелился шепотом и с глубоким вздохом доложить, что обувь очень, очень пострадала.

– Ну, это одна песня везде, – небрежно сказал начальник штаба, улыбаясь наивности генерала и показывая тем, что то, что казалось особенным несчастьем полковому командиру, было общею и предвиденною долей всех приходивших войск. – Здесь оправитесь, коли простои́те.

Кутузов прошел по рядам, изредка останавливаясь и говоря по несколько ласковых слов офицерам, которых он знал по турецкой войне, а иногда и солдатам. Поглядывая на обувь, он несколько раз грустно покачивал головой и указывал на нее австрийскому генералу с таким выражением, что как бы не упрекал в этом никого, но не мог не видеть, как это плохо. Полковой командир каждый раз при этом забежал вперед, боясь упустить слово главнокомандующего касательно полка. Сзади Кутузова в таком расстоянии, что всякое слабо произнесенное слово могло быть услышано, шло человек двадцать свиты. Господа в свите, видимо, вовсе не испытывали к Кутузову того нечеловеческого страха и уважения, которое выказывал полковой командир. Они разговаривали между собой и иногда смеялись. Ближе всех за главнокомандующим шел красивый адъютант. Это был князь Болконский. Рядом с ним шел кавалерийский высокий штаб-офицер, чрезвычайно толстый, с добрым, улыбающимся, красивым лицом и влажными глазами. Громадный офицер этот едва удерживался от смеха, возбуждаемого черноватым гусарским офицером, шедшим подле него. Гусарский офицер, не улыбаясь, не изменяя выражения остановившихся глаз, с серьезным лицом смотрел на спину полкового коман-

дира и передразнивал каждое его движение. Каждый раз, как полковой командир вздрагивал и нагибался вперед, точно так же, точь-в-точь так же, вздрагивал и нагибался вперед гусарский офицер. Толстый адъютант смеялся и толкал других, чтоб они смотрели на забавника.

– Ну, смотри же, – говорил толстый офицер, толкая князя Андрея.

Кутузов шел медленно и вяло мимо тысяч глаз, которые выкатывались из своих орбит, следя за начальником. Поравнявшись с 3-й ротой, он вдруг остановился. Свита, не предвидя этой остановки, невольно надвинулась на него.

– А, Тимохин! – сказал главнокомандующий, узнавая капитана с красным носом, пострадавшего за синюю шинель.

Казалось, нельзя было вытягиваться больше того, как вытягивался Тимохин, в то время как полковой командир делал ему замечание. Но он в минуту обращения к нему главнокомандующего вытянулся так, что казалось, посмотри на него главнокомандующий еще несколько времени, капитан не выдержал бы, и потому Кутузов, видимо, поняв его положение и желая, напротив, всякого добра капитану, поспешно отвернулся. По пухлому лицу Кутузова пробежала чуть заметная улыбка.

– Еще измайльский товарищ, – сказал он. – Храбрый офицер. Ты доволен им? – спросил Кутузов у полкового командира.

И полковой командир, отражаясь, как в зеркале, невидимо для себя, в корнете, вздрогнул, подошел вперед и отвечал:

– Очень доволен, ваше высокопревосходительство.

– У него была слабость, – сказал Кутузов, улыбаясь и отходя от него. – Пил.

Полковой командир испугался, не виноват ли он в этом, и ничего не ответил. Кутузов по-французски стал рассказывать что-то австрийскому генералу. Корнет в эту минуту заметил лицо капитана с красным носом и подтянутым животом и так похоже передразнил его лицо и позу, что толстый офицер не мог удержать смеха. Кутузов обернулся. Видно было, что корнет мог управлять своим лицом, как хотел; в ту минуту, как Кутузов обернулся, корнет успел сделать гримасу, а вслед за тем принять самое серьезное, почтительное и невинное выражение. Но что-то было искательно неблагородное в его птичьем лице и вертлявой фигуре с высоко поднятыми плечами и длинными худыми ногами. Князь Андрей, поморщившись, отвернулся от него.

Третья рота была последняя, и Кутузов задумался, видимо, припоминая что-то. Князь Андрей выступил из свиты и по-французски тихо сказал:

– Вы приказали мне напомнить о разжалованном Долохове в этом полку.

– Где тут Долохов? – сказал Кутузов.

Долохов, уже переодетый в солдатскую серую шинель, не дожидаясь, чтоб его вызвали. Красивая, стройная фигура белокурого с ясными голубыми глазами солдата выступила из фронта. Он отбивал шаг в таком совершенстве, что искусство его бросалось в глаза и поражало неприятно именно своею чрезмерною отчетливостью. Он подошел к главнокомандующему и сделал на караул.

– Претензия? – нахмурившись слегка, спросил Кутузов. Долохов не отвечал. Он играл своим положением, не испытывая ни малейшего стеснения, и с видимою радостью заметил, как при вопросе «претензия» вздрогнул и побледнел полковой командир.

– Это Долохов, – сказал князь Андрей.

– А! – сказал Кутузов. – Надеюсь, что этот урок тебя исправит, служи хорошенько. Государь милостив. И я не забуду тебя, ежели ты заслужишь.

Голубые открытые глаза смотрели на главнокомандующего так же дерзко, как и на полкового командира, как будто своим выражением разрывая завесу условности, отделявшую так далеко главнокомандующего от солдата.

– Об одном прошу, ваше высокопревосходительство, – сказал он своим звучным, твердым, не спешащим голосом и с выражением сухого напыщенного восторга. – Прошу дать мне случай загладить свою вину и доказать мою преданность государю императору и России.

Долохов оживленно сказал эту театральную речь (он весь вспыхнул, говоря это). Но Кутузов отвернулся. На лице его промелькнула та же улыбка глаз, как и в то время, когда он отвернулся от капитана Тимохина. Он и тут отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что все, что ему сказал Долохов, и все, что он мог сказать ему, он давно, давно знает, что все это прискучило ему и что все это совсем не то, что нужно. Он отвернулся и направился к коляске.

III

Полк разобрался ротами и тронулся по назначенным квартирам невядалеке от Браунау, где надеялся обуься, обшиться и отдохнуть после трудных переходов.

– Вы на меня не претендуйте, Прохор Игнатыч, – сказал полковой командир, объезжая двигающуюся к месту 3-ю роту и подъезжая к шедшему впереди ее капитану Тимохину. Лицо полкового командира после счастливого отбытия смотра выражало неудержимую радость. – Служба царская... нельзя... другой раз во фронте оборвешь... (он с радостным волнением хватал за руку Тимохина). Сам извинюсь первый, вы меня знаете... ну... надеюсь... Очень благодарен. – И он опять протянул руку ротному.

– Помилуйте, генерал, да смею ли я, – отвечал капитан, краснея носом, улыбаясь и раскрывая улыбкой недостаток двух передних зубов, выбитых прикладом под Измаилом.

– Да, господину Долохову передайте, что я его не забуду, чтоб он был спокоен. Да скажите, пожалуйста, я все хотел спросить, что, как себя ведет? И все...

– По службе очень исправен, ваше превосходительство... ну, характер... – сказал Тимохин.

– А что, что характер? – спросил полковой командир.

– Находит, ваше превосходительство, днями, – говорил капитан, – то и умен, и учен, и добр. Как солдаты все любят, ваше превосходительство. А то зверь. В Польше убил было жида, изволите знать...

– Ну да, ну да, – сказал полковой командир, – все надо пожалеть молодого человека в несчастьи. Ведь большие связи... связи... Так вы того...

– Слушаю, ваше превосходительство, – сказал Тимохин, улыбкой давая чувствовать, что он понимает желания начальника.

– Ну да, ну да.

Полковой командир отыскал в рядах Долохова и придержал лошадь.

– До первого дела, эполеты, – обратился он к Долохову.

Долохов оглянулся, ничего не сказал и не изменил выражения своего насмешливо улыбающегося рта.

– Ну, вот и хорошо, – продолжал полковой командир. – Людям по чарке водки от меня, – прибавил он громко, чтоб солдаты слышали. – Благодарю всех! Слава Богу! – И он, обогнав роту, подъехал к другой.

– Что ж, он, право, хороший человек, с ним служить можно, – сказал Тимохин субалтерн-офицеру, шедшему подле него.

– Одно слово, червонный... (полкового командира прозвали червонным королем). Что, про добавочное жалованье не говорили? – спросил субалтерн-офицер.

– Нет.

– Плохо.

Счастливое расположение духа полкового командира перешло и к Тимохину. Поговорив с субалтерн-офицером, он подошел к Долохову.

– Что, батюшка, – сказал он Долохову, – как с главнокомандующим поговорили, так и наш генерал теперь с вами ласков стал.

– Свиная наш генерал, – сказал Долохов.

– А вот и не годится так говорить.

– Что же, коли так.

– А не годится, вы нас этим обижаете.

– Вас я не хочу обижать, потому что вы хороший человек, а он...

– Ну, ну, не годится, – опять перебил серьезно Тимохин.

– Ну, не буду.

Счастливое расположение духа начальства после смотра перешло и к солдатам. Рота шла весело. Со всех сторон переговаривались солдатские голоса.

– Как же сказывали, Кутузов кривой, об одном глазу?

– А то нет! Вовсе кривой.

– Не... брат, глазастей тебя, и сапоги и подвертки, все оглядел.

– Как он, братец ты мой, глянет на ноги мне... ну, думаю...

– А другой-то австрияк с ним был, словно мелом вымазан. Как мука белый. Я чай, как амуницию чистит?

– А что Федешов, сказывал он, что ли, когда отражение начнется, ты ближе стоял? Говорили все, в Брунове сам Буонапарте стоит.

– Буонапарте стоит! Ишь врет дура! Чего не знает! Теперь пруссак бунтует. Австрияк его, значит, умиряет. Как он замирится, тогда и с Буонапартом война откроется. А то, говорит, в Брунове Буонапарте стоит! То-то и видно, что дурак. Ты слушай больше.

– Вишь, черти, квартирьеры! Пятая рота, гляди, уже в деревню заворачивает, они кашу сварят, а мы еще до места не дойдем.

– Дай сухарика-то, черт.

– А табаку-то вчера дал? То-то, брат. Ну, на, Бог с тобой.

– Хоть бы привал сделали, а то еще верст пять пропрем не евши.

– То-то любо было, как под Ольмюцем немцы нам коляски подавали. Едешь, знай; важно!

– А здесь, дружок, народ вовсе оголтелый пошел. Там все как будто поляк был, все русской короны, а нынче, брат, сплошной немец пошел.

– Песенники вперед! – слышался крик капитана.

И перед ротой с разных рядов выбежало человек двадцать. Барабанщик-запевала обернулся лицом к песенникам и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую песню, начинавшуюся «Не заря ли, солнышко занималося...» и кончавшуюся словами «То-то, братцы, будет слава нам с Каменским отцом...» Песня эта была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии. Только с тем изменением, что на место «Каменским отцом» вставляли слова «Кутузовым отцом».

Оторвав по-солдатски эти последние слова и махнув руками, как будто он бросал что-то на землю, барабанщик, сухой и красивый солдат лет сорока, строго оглянул солдат-песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он, как будто осторожно, приподнял обеими руками какую-то невидимую драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее:

– Ах, вы сени, мои сени...

«Сени новые мои»... – подхватило двадцать голосов, и ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резво выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому-то ложками. Солдаты, в такт песни размахивая руками, шли просторным шагом, невольно попадая в ногу. Сзади роты слышались звуки колес, похрускивание рессор и топот лошадей. Кутузов со свитой возвращался в город. Главнокомандующий дал знак, чтобы люди продолжали идти вольно, и на его лице и на всех лицах его свиты выразилось удовольствие при звуках песни, при виде пляшущего солдата и весело и бойко идущих солдат роты. Во втором ряду, с правого фланга, с которого коляска обгоняла роты, невольно бросался в глаза красавец, голубоглазый, сбитый, широкий солдат, который особенно бойко и грациозно шел в такт песни и весело взглянул на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой. Гусарский корнет с высоко поднятыми плечами отстал от коляски и подъехал к Долохову.

Гусарский корнет Жерков одно время в Петербурге принадлежал к тому буйному обществу, которым руководил Долохов. За границей Жерков встретил Долохова солдатом, но не счел нужным узнать его. Теперь он с радостью старого друга обратился к нему.

– Друг сердечный, ты как? – сказал он при звуках песни, равняя шаг своей лошади с шагом роты.

– Здорово, брат, – отвечал холодно Долохов, – как видишь.

Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которой говорил Жерков, и умышленной холодности ответов Долохова.

– Ну, как ты ладишь с своими, с начальством? – спросил Жерков.

– Ничего, хорошие люди. Ты как в штаб затесался?

– Прикомандирован, дежурю.

Они помолчали. «Выпускала сокола, да из правого рукава», – говорила песня, невольно возбуждая бодрое, веселое чувство. Разговор их, вероятно, был бы другой, ежели бы они говорили не при звуках песни.

– Что, правда, австрийцев побили? – спросил Долохов.

– А черт их знает, говорят.

– Я рад, – отвечал Долохов коротко и ясно, как того требовала песня.

– Что ж, приходи к нам когда вечером, фараон заложишь, – сказал Жерков.

– Или у вас денег много завелось?

– Приходи.

– Нельзя. Зарок дал. Не пью и не играю, пока не произведут.

– Да что ж, до первого дела...

– Там видно будет...

Опять они помолчали.

– Ты заходи, коли что нужно, все в штабе помогут, – сказал Жерков.

Долохов усмехнулся.

– Ты лучше не беспокойся. Мне что нужно, я просить не стану, сам возьму, – и Долохов злобно посмотрел в лицо Жеркову.

– Да что ж, я так...

– Ну и я так.

– Прощай.

– Будь здоров.

...И высоко, и далеко,
На родиму сторону...

Жерков тронул шпорами лошадь, которая раза три, горячась, перебила ногами, не зная, с какой начать, справилась и поскакала, обгоняя роту и догоняя коляску, тоже в такт песни.

IV

Возвратившись со смотра, Кутузов с австрийским генералом прошел в свой кабинет и, кликнув адъютанта, приказал подать себе некоторые бумаги, относившиеся до состояния приходивших войск, и письма, полученные до сих пор от эрцгерцога Фердинанда. Князь Андрей Болконский с требуемыми бумагами вошел в кабинет главнокомандующего. Перед разложенным на столе планом сидели Кутузов и австрийский член гофкригсрата.

– А... – сказал Кутузов, оглядываясь на Болконского, как будто этим словом приглашая адъютанта подождать, и продолжал по-французски начатый разговор.

– Я только говорю одно, генерал, – говорил Кутузов с приятным изяществом выражений и интонаций, заставлявшим вслушиваться в каждое неторопливо сказанное слово. Видно было, что Кутузов и сам с удовольствием слушал себя. – Я только одно говорю, генерал, что ежели бы дело зависело от моего личного желания, то воля его величества, императора Франца, давно была бы исполнена. Я давно уже присоединился бы к эрцгерцогу. И верьте моей чести, что для меня лично передать высшее начальство армией более меня сведущему и искусному генералу, какими так обильна Австрия, и сложить с себя всю эту тяжкую ответственность, для меня лично было бы отрадой. Но обстоятельства бывают сильнее нас, генерал. – И Кутузов улыбнулся с таким выражением, как будто он говорил: «Вы имеете полное право не верить мне, и даже мне совершенно все равно, верите ли вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать мне это. И в этом-то все дело».

Австрийский генерал имел недовольный вид, но не мог не в том же тоне отвечать Кутузову.

– Напротив, – сказал он ворчливым и сердитым тоном, так противоречившим лестному значению произносимых слов, – напротив, участие вашего превосходительства в общем деле высоко ценится его величеством, но мы полагаем, что настоящее замедление лишает славные русские войска и их главнокомандующих тех лавров, которые они привыкли пожинать в битвах, – закончил он, видимо, приготовленную фразу.

Кутузов поклонился, не изменяя улыбки.

– А я так убежден и, основываясь на последнем письме, которым почтил меня его высокочество эрцгерцог Фердинанд, предполагаю, что австрийские войска, под начальством столь искусного помощника, каков генерал Макк, теперь уже одержали решительную победу и не нуждаются более в нашей помощи, – сказал Кутузов.

Генерал вздрогнул и нахмурился. Хотя и не было положительных известий о поражении австрийцев, но было слишком много обстоятельств, подтверждавших общие невыгодные слухи, и потому предположение Кутузова о победе австрийцев было весьма похоже на насмешку. Но Кутузов кротко улыбался, все с тем же выражением, которое говорило, что он имеет право предполагать это. Действительно, последнее письмо, полученное им из армии Макка, извещало его о победе и о самом выгодном стратегическом положении армии.

– Дай-ка сюда это письмо, – сказал Кутузов, обращаясь к князю Андрею. – Вот, извольте видеть, – и Кутузов с насмешливою улыбкой на концах губ прочел по-немецки австрийскому генералу следующее место из письма эрцгерцога Фердинанда:

«Мы имеем вполне сосредоточенные силы, около 70 000 человек, так что мы можем атаковать и разбить неприятеля в случае переправы его через Лех. Так как мы уже владеем Ульмом, то мы можем удерживать за собою выгоду командования обоими берегами Дуная, стало быть, ежеминутно, в случае если неприятель не перейдет через Лех, переправиться через Дунай, броситься на его коммуникационную линию, ниже перейти обратно Дунай, и неприятелю, если он вздумает обратить всю свою силу на наших верных союзников, не дать исполнить его намерение. Таким образом, мы будем бодро ожидать времени, когда императорская

российская армия совсем изготовится, и затем вместе легко найдем возможность уготовить неприятелю участь, коей он заслуживает».

Кутузов тяжело вздохнул, окончив этот период, и внимательно и ласково посмотрел на члена гофкригсрата.

– Но вы знаете, ваше превосходительство, мудрое правило, предписывающее предполагать худшее, – сказал австрийский генерал, видимо, желая покончить с шутками и приступить к делу. Он недовольно оглянулся на адъютанта.

– Извините, генерал, – перебил его Кутузов и тоже повернулся к князю Андрею. – Вот что, мой любезный, возьми ты все донесения от наших лазутчиков у Козловского. Вот два письма от графа Ностица, вот письмо от его высочества эрцгерцога Фердинанда, вот еще, – сказал он, подавая ему несколько бумаг. – И из всего этого чистенько на французском языке составь меморандум, записочку, для видимости всех тех известий, которые мы о действиях австрийской армии имели. Ну, так-то, и представь его превосходительству.

Князь Андрей почтительно наклонил голову в знак того, что понял с первых слов не только то, что было сказано, но и то, что желал бы сказать ему Кутузов. Он собрал бумаги и, отдав общий поклон, тихо шагая по ковру, вышел в приемную.

Несмотря на то, что еще не было трех месяцев, как князь Андрей оставил Россию, он много изменился за это время. В выражении его лица, в движениях, в походке почти не было заметно прежнего притворства, усталости и лени; он имел вид человека, не имеющего времени думать о впечатлении, какое он производил на других, и занятого делом приятным и интересным. Лицо его выражало больше довольства собой и окружающими; улыбка и взгляд его были веселее и привлекательнее.

Кутузов, которого он догнал еще в Польше, принял его очень ласково, обещал ему не забывать его, отличал от других адъютантов, брал с собою в Вену и давал более серьезные поручения. В штабе Кутузова, между товарищами-сослуживцами, и вообще в армии князь Андрей, так же как и в петербургском обществе, имел две совершенно противоположные репутации. Одни, меньшая часть, признавали князя Андрея чем-то особенным от себя и от всех других людей, ожидали от него больших успехов, слушали его, восхищались им и подражали ему. И с этими людьми князь Андрей бывал прост и приятен. Другие, большинство, не любили князя Андрея, считали его надутым, холодным и неприятным человеком. Но с этими людьми князь Андрей умел поставить себя так, что его уважали и даже боялись. Он ближе всех был с двумя людьми: один из них был петербургский товарищ, добродушный, толстый князь Несвицкий. Князь Несвицкий, огромно богатый, беспечный и веселый, кормил и поил весь штаб, постоянно смеялся всему, что похоже было на смешное, и не понимал и не верил в возможность подлости или ненависти к человеку. Другой был человек без имени, из пехотного полка капитан Козловский, не имевший никакого светского образования, даже дурно говоривший по-французски, но который трудом, усердием и умом прокладывал себе дорогу, и в эту кампанию был рекомендован и взят по особым поручениям к главнокомандующему. С ним охотно, хотя и покровительственно, сближался Болконский.

Выйдя в приемную из кабинета Кутузова, князь Андрей с бумагами подошел к Козловскому, который был дежурный и с книгой фортификации сидел у окна. Несколько человек военных в полной форме и с робкими лицами терпеливо ожидали в другой стороне.

– Ну что, князь? – спросил Козловский.

– Приказано составить записку, почему неидем вперед.

– А почему?

Князь Андрей пожал плечами.

– Пожалуй, ваша правда, – сказал он.

– Нет известия от Макка? – спросил Козловский.

– Нет.

- Ежели бы правда, что он разбит, так пришло бы известие.
- Непонятно, – сказал князь Андрей.
- Я вам говорил, князь, завладели нами австрийцы, добра не будет.

Князь Андрей улыбнулся и направился к выходной двери, но в то же время навстречу ему, хлопнув дверью, быстро вошел в приемную высокий, очевидно приезжий, австрийский генерал с повязанною черным платком головой и с орденом Марии-Терезии на шее. Князь Андрей остановился. Высокая фигура австрийского генерала, морщинистое, решительное лицо его и быстрые движения были так поразительны своею важностью и тревожностью, что все бывшие в комнате невольно встали.

– Генерал-аншеф Кутузов? – быстро проговорил приезжий генерал с резким немецким выговором, оглядываясь на обе стороны и без остановки подходя к двери кабинета.

– Генерал-аншеф занят, – сказал Козловский торопливо и мрачно, как он всегда исполнял свои обязанности, подходя к неизвестному генералу и загораживая ему дорогу от двери. – Как прикажете доложить?

Неизвестный генерал презрительно оглянулся сверху вниз на невысокого ростом Козловского, как будто удивляясь, что его могут не знать.

– Генерал-аншеф занят, – спокойно повторил Козловский.

Лицо генерала нахмурилось, губы его дернулись и задрожали. Он вынул записную книжку, быстро начертил что-то карандашом, вырвал листок, отдал, быстрыми шагами подошел к окну, бросил свое тело на стул и оглянул всех бывших в комнате, как будто спрашивая, зачем они на него смотрят? Генерал поднял голову, вытянул шею и обратился было к ближе всех от него стоявшему князю Андрею, как будто намереваясь что-то сказать, но тотчас же отвернулся и, как будто небрежно начиная напевать про себя, произвел странный звук, который, однако, тотчас же пресекся. Дверь кабинета отворилась, и на пороге ее показался Кутузов. В то же мгновение генерал с повязанною головой, как будто убегая от опасности, нагнувшись, большими, быстрыми шагами худых ног подвинулся к самому лицу Кутузова. Немолодое, морщинистое лицо его побледнело, и он не мог удержать от нервного дрожания нижнюю губу, в то время как он сорвавшимся, слишком громким голосом произнес дурным выговором по-французски следующие слова:

– Вы видите несчастного Макка.

Широкое, изуродованное ранами лицо Кутузова, стоявшего в дверях кабинета, несколько мгновений оставалось совершенно неподвижно. Потом, как волна, пробежала по его лицу морщина, лоб разгладился; он почтительно наклонил голову, закрыл глаза, молча пропустил мимо себя Макка и сам за собой затворил дверь.

Слух, уже распространенный прежде, о разбитии австрийцев и о сдаче всей армии под Ульмом, оказывался справедливым. Штабные сообщали друг другу подробности разговора Макка с главнокомандующим, которого никто не мог слышать. Через полчаса уже по разным направлениям были разосланы адъютанты с приказаниями, доказывавшими, что скоро и русские войска, до сих пор бывшие в бездействии, должны будут встретиться с неприятелем.

«Полусумасшедший старый фанатик Макк хотел бороться с величайшим военным гением после Кесаря! – думал князь Андрей, возвращаясь в свою комнату. – Что я говорил Козловскому? Что я писал отцу? – думал он. – Так и случилось». И невольно он испытывал волнующее радостное чувство при мысли о посрамлении самонадеянной Австрии и о том, что через неделю, может быть, придется ему увидеть и принять участие в столкновении русских с французами, впервые после Суворова.

Вернувшись сверху в свою комнату, занимаемую им вместе с Несвицким, князь Андрей положил ненужные уже теперь бумаги на стол и, заложив руки назад, заходил взад и вперед по комнате, улыбаясь своим мыслям. Он боялся гения Бонапарта, который мог оказаться сильнее всей храбрости русских войск, и вместе с тем не мог допустить позора для своего героя. Един-

ственно возможное разрешение этого противоречия состояло в том, чтоб он сам командовал русскою армией против Бонапарта. Но когда это могло быть? Через десять лет, – десять лет, которые кажутся вечностью, когда они составляют больше одной трети прожитой жизни. «Ах! Делай, что должно, пусть будет, что будет», – проговорил он себе выбранный им девиз.

Он крикнул слугу, снял мундир, надел шубку и сел за стол. Несмотря на походную жизнь и общую тесную комнату, занимаемую им вместе с Несвицким, князь Андрей был, так же как и в России, щепетилен, точно женщина, занят собой и аккуратен. Несвицкий знал, что ничем нельзя было больше рассердить своего товарища по комнате, как расстройством его вещей, и два стола Болконского, один письменный, уставленный, как в Петербурге, бронзовыми письменными принадлежностями, другой – щеточками, мыльницами, зеркалом, всегда были симметрично убраны и без малейшей пылинки. Со времени своего выезда из Петербурга и, главное, со времени разлуки с женой, князь Андрей вступил в новую эпоху деятельности и как будто вновь переживал молодость. Он много читал и учился. Походная жизнь давала ему немало досуга, и книги, приобретенные им за границей, раскрыли для него новые интересы. В числе этих книг были большею частью философские сочинения. Философия, кроме своего внутреннего интереса, была для него одним из тех пьедесталов гордости, на которые он любил становиться пред другими людьми. Хотя у него и было много различных пьедесталов, с которых он мог сверху вниз смотреть на людей: рождение, связи, богатство, – философия представляла для него такой пьедестал, с которого он мог чувствовать себя выше и таких людей, как сам Кутузов, а чувствовать это было необходимо для душевного спокойствия князя Андрея. Он взял последнее, лежавшее у него на столе до половины разрезанное, сочинение Канта и принялся читать. Но мысль его была далеко, беспрестанно представлялась ему его любимая мечта – знамя Аркольского моста.

– Ну, брат, за мной бутылка, – сказал, входя в комнату огромный, толстый Несвицкий, как и всегда сопровождаемый Жерковым. – Какова штука с Макком?

– Да, неприятные четверть часа провел он теперь наверху, – сказал князь Андрей.

(Между ними было пари. Князь Андрей утверждал, что Макк будет разбит. Он выиграл.)

– Я говорил. Макк в зубах завязнет, – сказал Жерков, но шутка его не понравилась. Князь Андрей холодно оглянулся на него и обратился к Несвицкому.

– Что слышал, когда выступают? – сказал он.

– Вторую дивизию послали передвинуть, – сказал Жерков со своею заискивающею манерой.

– А! – сказал князь Андрей, отвернулся и стал читать.

– Ну, будет тебе философствовать, – крикнул Несвицкий, бросаясь на кровать и отдуваясь, – потолкуем-ка. Как я хохотал сейчас! Можешь себе представить, только мы вышли, Штраух идет. Надо было видеть, что Жерков перед ним выделял.

– Ничего, я отдавал честь союзнику, – проговорил Жерков, и Несвицкий захохотал так, что кровать под ним затрещала.

Штраух, австрийский генерал, присланный из Вены для наблюдения за продовольствиями русской армии, почему-то полюбился Жеркову. Он и передразнивал его весьма похоже, и каждый раз, как встречался с ним, вытягивался, представляя, что он его боится, и каждый раз, как мог найти случай, заговаривал с ним на ломаном немецком языке, представляя из себя наивного дурачка, к большому удовольствию Несвицкого.

– Ах да! – сказал Несвицкий, обращаясь к князю Андрею, – кстати о Штраухе. Тут тебя давно ждет офицер пехотный.

– Какой офицер?

– Помнишь, тебя посылали следствие производить, корову что ли он утащил у немцев.

– Что ж ему нужно? – морщась, сказал князь Андрей, поворачивая кольцо на своей маленькой белой руке.

– Жалкий такой, просить тебя пришел. Жерков, как он? Ну, как он говорил? Жерков сделал гримасу и начал представлять офицера.

– Я... совсем не то... солдаты... купили скотину, потому что хозяева... Скотина... хозяева... скотина...

Князь Андрей встал и надел мундир.

– Нет, ты замни как-нибудь, – сказал Несвицкий. – Ей-богу, такой жалкий.

– Я ни заминать, ни подводить никого и ничего не хочу. Меня послали, я сказал, что было. И мерзавцев я никогда не жалею и не смеюсь над ними, – прибавил он, глядя на Жеркова.

Поговорив с офицером, он высокомерно объяснил ему, что он никакого с ним личного дела не имеет и не желает иметь.

– Ведь вы сами знаете, ваш... князь, – говорил офицер, который, видимо, находился в недоумении, как ему обращаться с этим адъютантом: он боялся одинаково и унижаться, и не быть достаточно вежливым, – ведь вы сами знаете, князь, что походом бывали дни, что солдаты не евши, ну, как запретить... вы сами посудите...

– Ежели вы требуете моего личного убеждения, – сказал князь Андрей, – то я вам скажу, что, по моему мнению, мародерство всегда есть важный проступок, а в земле союзников нет за него достаточно строгого наказания. Но, главное, вы поймите, что я ничего не могу сделать; мое дело доложить главнокомандующему, что я нашел. Не могу же я для вас лгать. – И, улыбувшись этой странной мысли, он поклонился офицеру и пошел назад. Возвращаясь к себе, он увидел идущих по коридору генерала Штрауха и члена гофкригсрата. Навстречу им шли Несвицкий и Жерков.

По широкому коридору было достаточно места, чтобы генералы могли и обойти двух офицеров, но Жерков, отталкивая рукою Несвицкого, запыхавшимся голосом проговорил:

– Идут!.. идут!.. посторонитесь, дорогу! пожалуйста, дорогу!

Генералы проходили с видом желания избавиться от утруждающих почестей. На лице Жеркова выразилась вдруг глупая улыбка радости, которой он как будто не мог удержать.

– Ваше превосходительство, – сказал он по-немецки, выдвигаясь вперед и обращаясь к австрийскому генералу. – Имею честь поздравить. – Он наклонил голову и неловко, как дети, которые учатся танцевать, стал расшаркиваться то одной, то другой ногой.

Генерал, член гофкригсрата, строго оглянулся на него, но, заметив серьезность глупой улыбки, не мог отказать в минутном внимании. Он прищурился, показывая, что слушает.

– Имею честь поздравить, генерал Макк приехал совсем здоров, только немного тут зашибся, – прибавил он, сияя улыбкой и указывая на свою голову.

Генерал нахмурился, отвернулся и пошел дальше.

– Боже мой, как наивен, – сказал он сердито, отойдя несколько шагов.

Несвицкий с хохотом обнял князя Андрея и повлек его в свою комнату. Вслед за Несвицким в комнату вошел князь Андрей и, не обращая внимания на его хохот, подошел к своему столу и сбросил с него на пол лежавшую фуражку Жеркова.

– Нет, что за рожа! – сквозь смех говорил Несвицкий. – Это чудесно! Только немного тут зашибся... ха, ха, ха!

– Ничего смешного нет, – сказал князь Андрей.

– Как не смешно? Одна рожа чего стоит...

– Ничего смешного. Я не большой друг австрийцев, но есть приличия, которых может не знать этот негодяй, но которые мне и тебе должно соблюдать.

– Полно, он сейчас войдет, – испуганно перебил Несвицкий.

– Мне все равно. Как это хорошо нас выказывает перед союзниками, как тут много такта!.. Офицер этот, который украл корову для роты, право, не хуже твоего Жеркова. Тот, по крайней мере, нуждался в этой корове.

– Да как ты хочешь, братец, это все очень жалко, а все-таки смешно. Ежели бы ты...

– Ничего смешного. Сорок тысяч человек погибло, и союзная нам армия уничтожена, а вы можете при этом шутить, – сказал он, как будто этою французскою фразой закрепляя свое мнение. – Это простительно ничтожному мальчишке, как вот этот господин, которого вы сделали себе другом, но не вам, не вам, – сказал князь Андрей по-русски, выговаривал это слово с французским акцентом, заметив, что Жерков вошел в комнату. Он подождал, не ответит ли что-нибудь корнет. Но корнет ничего не отвечал, взял свою фуражку и, подмигнув Несвицкому, вышел.

– Приходи же обедать, – крикнул Несвицкий. Князь Андрей пристально посмотрел на корнета, и когда он скрылся, сел за стол.

– Я тебе давно хотел сказать, – обратился он к Несвицкому, который с улыбкой в глазах смотрел теперь на князя Андрея. Казалось, для него всякое развлечение было приятно, и он теперь не без удовольствия слушал звук голоса и речь князя Андрея.

– Я тебе давно хотел сказать, твоя страсть со всеми быть фамильярным, и кормить, и поить без разбора всех на свете. Все это прекрасно, и хоть я с тобой живу, для меня это не стеснительно, потому что я этим господам умею дать почувствовать их место. И я говорю не для себя, а для тебя. Со мною ты можешь шутить. Мы понимаем друг друга и знаем границы шуток, а с этим Жерковым нельзя быть фамильярным. Его цель только в том, чтобы как-нибудь выскочить, получить крестик, да чтобы ты его даром кормил и поил; дальше он ничего не видит и готов тебя забавлять чем угодно, не соображая значения своих шуток, а тебе этого нельзя.

– Ну, что ж, он добрый малый, – заступаясь, сказал Несвицкий, – добрый малый.

– Этих Жерковых можно после обеда подпоить и заставить представлять комедии, это я понимаю, но не дальше.

– Ну, полно, брат, ну, неловко... Да что же, ну не буду, да только замолчи! – закричал, смеясь, Несвицкий и, вскочив с дивана, обнял и поцеловал князя Андрея. Князь Андрей улыбнулся, как учитель ласкающемуся школьнику.

– У меня внутренность переворачивается, когда эти Жерковы лезут к тебе в интимность. Ему хочется подняться и очиститься в сближении с тобой, и он не очистится, а только тебя запачкает.

V

Гусарский Павлоградский полк стоял в двух милях от Браунау. Эскадрон, в котором юнкером служил Николай Ростов, расположен был в немецкой деревне Зальценек. Эскадронному командиру, ротмистру Денисову, известному всей кавалерийской дивизии под именем Васьки Денисова, была отведена лучшая квартира в деревне. Юнкер Ростов, с тех самых пор, как он догнал полк в Польше, жил вместе с эскадронным командиром.

8-го октября, в тот самый день, когда в главной квартире все было поднято на ноги известием о поражении Макка, в штабе эскадрона походная жизнь спокойно шла по-старому. Денисов, проигравший всю ночь в карты, еще спал, когда Ростов, рано утром, верхом, вернулся домой в рейтузах и гусарской куртке. Ростов подъехал к крыльцу, толкнув лошадь, гибким молодым жестом скинул ногу, постоял на стремях, как будто не желая расстаться с лошадью, наконец, прыгнул и, обернув свое раздуманное, загорелое, с пробивавшимися усиками лицо, крикнул вестового.

– А, Бондаренко, друг сердечный, – проговорил он бросившемуся стремглав к его лошади гусару. – Выводи, дружок, – сказал он с тою братскою веселою нежностью, с которой обращаются со всеми хорошие молодые люди, когда они счастливы.

– Слушаю, ваше сиятельство, – отвечал хохол, встряхивая весело головой.

– Смотри же, выводи хорошенько!

Другой гусар бросился тоже к лошади, но Бондаренко уже перекинул поводья трензеля. Видно было, что юнкер давал хорошо на водку и что услужить ему было выгодно. Ростов погладил лошадь по шее, потом по крупу и остановился на крыльце.

«Славно» – сказал он сам себе, улыбаясь и придерживая саблю, вбежал на крыльцо и пристукнул каблуками и шпорами, как делают в мазурке. Хозяин-немец, в фуфайке и колпаке, с вилами, которыми он вычищал навоз, выглянул из коровника. Лицо немца вдруг просветлело, как только он увидал Ростова. Он весело улыбнулся и подмигнул: «Прекрасно, доброго утра!» – повторял он, видимо, находя удовольствие в приветствии молодого человека.

– Уже за работой, – сказал Николай все с тою же радостною братскою улыбкой, какая не сходила с его оживленного лица. – Ура австрийцы! Ура русские! Император Александр ура! – обратился он к немцу, повторяя слова, говоренные часто немцем-хозяином. Немец засмеялся, вышел совсем из двери коровника, сдернул колпак и, взмахнув им над головой, закричал:

– И весь свет ура!

Ростов сам, так же как немец, взмахнул фуражкой над головой и, смеясь, закричал: «И весь свет ура!» Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Николая, ездившего со взводом за сеном; оба человека эти с счастливым восторгом и братскою любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись, немец – в коровник, а Николай – в избу, которую занимал с Денисовым.

Накануне офицеры этого эскадрона собирались у ротмистра 4-го эскадрона в другой деревне и провели у него ночь за картами. Ростов там был, но уехал рано. Несмотря на все его желание быть вполне гусаром и товарищем, он не мог пить больше стакана вина, не делаясь больным, и засыпал за картами. Денег у него было слишком достаточно, так что он не знал, куда девать их, и не понимал удовольствия выигрывать. Каждый же раз, как он, по совету офицеров, ставил карту, он выигрывал деньги, которые ему были не нужны, и замечал, как это было неприятно тому, чьи были деньги, но помочь этому не мог. Ростов, несмотря на то, что эскадронный командир никогда не делал ему замечаний по службе, решил сам про себя, что в военной службе важнее всего добросовестность в исполнении обязанности, и объявил всем офицерам, что он счел бы себя дрянью, ежели бы он позволил себе когда-нибудь пропустить

очередь дежурства или командировки. Впоследствии дежурства и унтер-офицерская служба, к которой никто не принуждал его, становились тяжелы для него, но он помнил сказанное неосторожно слово и не изменил ему. По унтер-офицерской службе, получив с вечера повестку от вахмистра, он велел себя разбудить до зари и вместе со взводом ходил за сеном. Денисов еще спал, а он уже успел наговориться с гусарами, насмотреться на немку, дочь школьного учителя в Зальценеке, проголодаться и прийти в то счастливое состояние духа, в котором все люди добры, милы и приятны. Он, слегка побрякивая солдатскими шпорами, ходил взад и вперед по скрипучему полу, поглядывая на спящего, с головой укутанного Денисова. Ему хотелось поговорить. Денисов кашлянул и повернулся. Он подошел к нему и дернул за одеяло.

– Пора, Денисов! Пора! – крикнул он.

Из-под одеяла быстро выскочила черная, обросшая волосами мохнатая голова с красными щеками и блестящими чернейшими глазами.

«Пог’а! – закричал Денисов, не выговаривая р. – Что пог’а? Пог’а уйти к чег’ту из этого... колбасного цаг’ства! Такого несчастья! такого несчастья! Как ты уехал, так и пошло. Пг’одулся я, бг’ат, вчег’а, как сукин сын!.. Эй, чаю!»

Денисов вскочил своими карими голыми ногами, обросшими как у обезьяны, черными волосами, и, сморщившись, как бы улыбаясь и выказывая свои короткие крепкие зубы, начал обеими руками лохматить как лес взбитые черные густые волосы и усы.

С первых слов Денисова видно было, что ему невесело на душе, и что он телом слаб от вина и бессонных ночей, и что приемы веселости были не потребностью его, а привычкой.

– Черт меня дернул пойти к этой крысе (прозвище офицера), – растирая себе обеими руками лоб и лицо, говорил Денисов. – Можешь себе представить, вчера, как ты ушел, ни одной карты, ни одной, ни одной карты не дал, – говорил Денисов, возвышая голос до крика и весь багровея от волнения.

Денисов был один из тех людей, которые постоянно два раза в год пускали себе кровь и назывались горячими.

– Ну, полно, дело прошлое, – сказал Ростов, замечая, что Денисов начинает горячиться при одном воспоминании о своем несчастье. – Давай лучше чай пить.

Видно было, что Ростов еще не свикся с своим положением и ему приятно было говорить ты такому старому человеку. Но Денисов уже расходился, глаза его налились кровью, он взял подаваемую ему закуренную трубку, сжал в кулак, рассыпая огонь, бил ею по полу, продолжая кричать.

– Нет, это надо мной чертовское несчастье – семпель даст, пароль бьет, семпель даст, пароль бьет.

Он рассыпал огонь, разбил трубку, бросил ее и замахнулся на денщика. Но через минуту, когда Ростов обратился к нему, горячка уже прошла.

– А я как проехался славно. Мы мимо того парка прошли, где учителя дочка, помнишь?.. – сказал Ростов, краснея и улыбаясь.

– Это кровь молодая-то, – уже тихо сказал Денисов, хватая юнкера за руку и потрясая ее. – Краснеет юноша, даже противно...

– Опять видел...

– Ну, брат, и я, видно, теперь за прекрасный пол примусь – денег нет, играть баста. Никита, дай-ка, дружок, мне кошелек, – сказал он денщику, которого чуть не прибил. – Вот так. Эка дубина, черт! Где роешься? Под подушкой. Ну, спасибо, голубчик, – сказала он, принимая кошелек и высыпая на стол несколько золотых. – Эскадронные, фуражные, все тут, – сказал он. – Должно быть, фуражных одних сорок пять. Да нет, что считать! Не поднимешься.

Он отодвинул золотые.

– Что ж, возьми у меня, – сказал Ростов.

– Коли в воскресенье не привезут жалованье, скверно! – проговорил Денисов, не отвечая Ростову.

– Да возьми у меня, – проговорил Ростов, краснея, это всегда бывает с очень молодыми людьми, когда дело касается денег. У него неясно мелькнула мысль о том, что Денисов уже должен ему, и мысль, что Денисов оскорбляет его, не принимая его предложения.

Лицо Денисова опустилось и стало грустно.

– Вот что! Возьми у меня Бедуина, – сказал он серьезно, подумав несколько. – Я сам за него в России полторы тысячи дал, за ту же цену тебе отдам. Заветного ничего, кроме сабли. Бери! По рукам...

– Ни за что не возьму. Лучшая лошадь в полку, – сказал Ростов, опять вспыхивая.

Бедуин была действительно прекрасная лошадь, и Ростов очень бы хотел иметь ее, но и совестно было перед Денисовым. Он чувствовал себя как будто виноватым за то, что у него есть деньги. Денисов замолчал и стал опять задумчиво лохматить волосы.

– Эй, кто там? – обратился он к двери, слышав остановившиеся шаги толстых сапог с бряцанием шпор, и почтительное покашливание.

– Вахмистр! – сказал Никита. Денисов сморщился еще больше.

– Скверно, – проговорил он. – Ростов, сочти, голубчик, сколько там осталось, да брось кошелек под подушку, – сказал он, выходя к вахмистру.

Ростов, уже воображая себя корнетом на купленном Бедуине в замке эскадрона, начал считать деньги, машинально откладывая и равняя кучками старые и новые золотые (старых было семь, а новых шестнадцать).

– А! Телянин! Здорово! Вздудили меня вчера, – послышался грустный голос Денисова в другой комнате.

– У кого? У Быкова, у крысы?.. Я знал, – сказал другой тоненький голос, и вслед за тем в комнату вошел поручик Телянин, щеголеватый, маленький офицер того же эскадрона.

Ростов кинул под подушку кошелек и пожал протянутую ему влажную маленькую руку. Телянин был перед походом за что-то переведен из гвардии. Его не любили в эскадроне за его чопорность. Ростов купил у него свою лошадь.

– Ну что, молодой кавалерист, как вам мой Грачик служит? – спросил он. Поручик никогда не смотрел в глаза человеку, с кем говорил; глаза его постоянно перебежали с одного предмета на другой. – Я видел, вы нынче проехали...

– Да ничего, конь добрый, – отвечал Ростов серьезным тоном опытного кавалериста, несмотря на то, что лошадь, купленная им за семьсот рублей, была испорчена ногами и не стоила половины этой цены. – Припадать стала на левую переднюю... – прибавил он.

– Треснуло копыто? Это ничего. Я вас научу, покажу, заклепку какую положить.

Глаза Телянина не успокаивались, несмотря на то, что вся его небольшая фигурка принимала лениво-небрежную позу и тон его речи был слегка насмешливо-покровительственный.

– Не хотите ли чаю? И покажите, пожалуйста, как это заклепка-то, – сказал Ростов.

– Покажу, покажу, это не секрет. А за лошадь благодарить будете.

– Так я велю привести лошадь. – И Ростов вышел, чтобы привести.

В сенях Денисов в архалуке, с трубкой, скорчившись на пороге, сидел перед вахмистром, который что-то докладывал.

Увидав Ростова, Денисов сморщился и, указывая через плечо большим пальцем в комнату, в которую прошел Телянин, поморщился и с отвращением тряхнулся.

– Ох, не люблю молодца, – сказал он, не стесняясь присутствием вахмистра.

Ростов пожал плечами, как будто говоря: «И я тоже, да что ж делать», – и, распорядившись, вернулся к Телянину.

Телянин сидел все в той же ленивой позе, в которой его оставил Ростов, потирая маленькие белые руки.

– Вот стояночка-то – ни одного дома, ни одной женщины не видал, с тех пор как из Польши, – сказал Телянин, вставая и небрежно оглядываясь вокруг себя. – Что же, велели привести лошадь? – прибавил он.

– Велел.

– Да пойдемте сами.

– А что ж чаю?

– Нет, не хочу. Я ведь зашел только спросить Денисова о вчерашнем приказе. Получили, Денисов?

– Нет еще. А вы куда?

– Вот хочу молодого человека научить, как ковать лошадь, – сказал Телянин.

Они вышли на крыльцо и в конюшню. Поручик показал, как делать заклепку, и ушел к себе.

Когда Ростов вернулся, на столе стояла водка и ветчина, и Денисов, одетый, быстрыми шагами ходил взад и вперед по комнате. Он мрачно посмотрел в лицо Ростову.

– Редко кого не люблю, – сказал Денисов, – а этот мне Телянин противен, как молоко с сахаром. Надул он тебя с Грачиком своим, это верно. Пойдем в конюшню. Возьми Бедуина, все равно, сейчас из полы в полу, и две бутылки шампанского.

Ростов опять разгорелся, как девушка.

– Нет, пожалуйста, Денисов... Я ни за что не возьму лошадь.

А ежели ты у меня не возьмешь деньги по-товарищески, ты меня обидишь. Право, у меня есть.

Денисов поморщился, отвернулся и стал лохматить волосы. Ему, видно, неприятно было.

– Ну, быть по-твоему!

Ростов хотел достать деньги.

– После, после, еще есть. Чучела, пошли вахмистра, – крикнул Денисов Никите, – надо ему деньги отдать.

И он пошел к постели, чтобы достать из-под подушки кошелек.

– Ты куда положил?

– Под нижнюю подушку.

– Я под нижней и смотрю.

Денисов скинул обе подушки на пол. Кошелек не было.

– Вот чудо-то!

– Постой, ты не уронил ли, – сказал Ростов, по одной поднимая подушки и вытрясая их. Он скинул и отряхнул одеяло. Кошелек не было.

– Уж не забыл ли я. Нет, я еще подумал, что ты точно клад под голову кладешь, – сказал Ростов. – Я тут положил кошелек. Где он? – обратился он к слуге.

– Я не входил. Где положили, там и должен быть.

– Да нет...

– Вы все так, бросите куда, да и забудете. В карманах посмотрите.

– Нет, коли бы я не подумал про клад, – сказал Ростов, – а то я помню, что положил.

Никита перерыл всю постель, заглянул под нее, под стол, перерыл всю комнату, кошелек не было. Денисов, перерыв карманы, молча следил за движениями Никиты и, когда Никита удивленно развел руками, говоря, что в кармане нет, он оглянулся на Ростова.

– Ростов, ты школьнич...

Он не договорил. Ростов, с обеими руками в карманах, стоял, опустив голову. Почувствовав на себе взгляд Денисова, он поднял глаза и в то же мгновение опустил их. В то же мгновение вся кровь его, бывшая запертою где то ниже горла, хлынула ему в лицо и глаза. Молодой человек, видимо, не мог перевести дыхание. Денисов поспешно отвернулся, сморщился и стал лохматить себе волосы.

– И в комнате-то никого не было, кроме поручика, да вас самих. Тут где-нибудь.

– Ну, ты, чертова кукла, поворачивайся, ищи, – вдруг закричал Денисов, побагровев и с угрожающим жестом бросаясь на денщика. – Чтоб был кошелек, а то заporю!

Ростов, задыхаясь и обходя взглядом Денисова, стал застегивать куртку, подстегнул саблю и надел фуражку.

– Ну, чертов сын. Я тебе говорю, чтоб был кошелек, – кричал Денисов, бессмысленно тряся за плечи денщика и толкая его об стену.

– Денисов, оставь его. Я сейчас приду, – сказал Ростов, подходя к двери и не поднимая глаз.

– Ростов! Ростов! – закричал Денисов, так что жилы, как веревки, вздулись у него на шее и лбу. – Я тебе говорю, ты с ума сошел, я этого не позволю. – И Денисов схватил за руку Ростова. – Кошелек здесь, спущу шкуру со всех денщиков, и будет здесь.

– А я знаю, где кошелек, – отвечал Ростов дрожащим голосом. Они взглянули друг другу в глаза.

– А я тебе говорю, не делай этого, – закричал, надрываясь Денисов и бросаясь к юнкеру, чтобы удержать его, – я тебе говорю, черт их подери эти деньги! Это не может быть, я не допущу этого. Ну, пропали, черт с ними... – Но, несмотря на решительный смысл слов, мохнатое лицо ротмистра выражало теперь уже нерешительность и страх. Ростов вырвал свою руку и с такою злобой, как будто Денисов был величайший враг его, прямо и твердо устремил на него глаза.

– Ты понимаешь ли, что говоришь? – сказал он дрожащим голосом. – Кроме меня никого не было в комнате. Стало быть, ежели не то, так...

Он не мог договорить и выбежал из комнаты.

– Ах, черт с тобой и со всеми, – были последние слова, которые слышал Ростов.

Он пришел на квартиру Телянина.

– Барина дома нет, в штаб уехали, – сказал ему денщик Телянина. – Или что случилось? – прибавил денщик, удивляясь на расстроенное лицо юнкера.

– Нет, ничего.

– Немного не застали, – сказал денщик.

Штаб находился в трех верстах от Зальценека. Ростов, не заходя домой, взял лошадь и поехал в штаб.

В деревне, занимаемой штабом, был трактир, посещаемый офицерами.

Ростов приехал в трактир, у крыльца он увидел лошадь Телянина.

Во второй комнате трактира сидел поручик за блюдом сосисок с бутылкой.

– А, и вы заехали, юноша, – сказал он, улыбаясь и высоко поднимая брови.

– Да, – сказал Ростов, как будто выговорить это слово стоило ему большого труда, и сел за соседний стол.

Оба молчали, в комнате никого не было, и слышались только звуки ножа о тарелку и чавканье поручика. Когда Телянин кончил завтрак, он вынул из кармана двойной кошелек, изогнутыми кверху маленькими белыми пальцами раздвинул кольца, достал золотой и, приподняв брови, отдал деньги слуге.

– Пожалуйста, поскорее, – сказал он.

Золотой был новый. Ростов встал и подошел к Телянину.

– Позвольте посмотреть мне кошелек, – сказал он тихим, чуть слышным голосом.

С бегающими глазами, но все с поднятыми бровями, Телянин подал кошелек.

– Это сувенир панночки одной... да... – сказал он и вдруг побледнел. – Посмотрите, юноша, – прибавил он.

Ростов взял в руки кошелек и посмотрел на него и на деньги, которые были в нем, и на Телянина. Поручик оглядывался кругом по своей привычке и, казалось, вдруг стал очень весел.

– Коли будем в Вене, все там оставлю, а теперь и девать некуда в этих дрянных городишках, – сказал он. – Ну, давайте, юноша, я пойду.

Ростов молчал.

– Что, вы покупаете лошадь у Денисова? Хорош конь, – продолжал Телянин. – Давайте же. – Он протянул руку и взялся за кошелек. Ростов выпустил его. Телянин взял кошелек и стал опускать его в карман рейтуз, и брови его небрежно поднялись, а рот слегка раскрылся, как будто он говорил: «Да, кладу в карман свой кошелек, и это очень просто, и никому до этого дела нет».

– Ну что, юноша? – сказал он, вздохнув, и из-под приподнятых бровей взглянул в глаза Ростова. Какой-то свет глаз с быстротою электрической искры перебежал из глаз Телянина в глаза Ростова и обратно, обратно и обратно, все в одно мгновение.

– Подите сюда, – проговорил Ростов, хватая Телянина за руку. Он почти притащил его к окну. – Вы вор! – прошептал он ему над ухом.

– Что?.. Что?.. Как вы смее? Что?.. – Но эти слова звучали жалобным, отчаянным криком и мольбой о прощении. Как только Ростов услышал этот звук голоса, с души его свалился огромный камень сомнения. Он почувствовал радость, и в то же мгновение ему стало так жалко несчастного, стоявшего перед ним человека, что слезы выступили ему на глаза.

– Здесь люди, Бог знает что могут подумать, – бормотал Телянин, схватывая фуражку и направляясь в небольшую пустую комнату. – Объяснитесь, что с вами?

Когда они вошли в эту комнату, Телянин был бледен, сер, мал ростом и как будто после тяжелой болезни похудел.

– Вы нынче украли кошелек из-под подушки Денисова, – сказал Ростов с расстановкой. Телянин хотел что-то сказать. – Я это знаю, и я это докажу.

– Я...

Серое лицо, потерявшее всю миловидность, начало дрожать всеми мускулами, глаза бегали не по-старому, а уже где-то внизу, не поднимаясь до лица Ростова, и слышались всхлипывания.

– Граф!.. не губите... молодого человека... вот эти несчастные... деньги, возьмите их... – Он бросил их на стол. – У меня отец старик, мать!..

Ростов взял деньги, избегая взгляда Телянина, и, не говоря ни слова, пошел из комнаты. Но у двери он остановился и вернулся назад.

– Боже мой, – сказал он со слезами на глазах, – как вы могли это сделать?

– Граф, – умильно сказал Телянин, приближаясь к юнкеру.

– Не трогайте меня, – проговорил Ростов, отстраняясь. – Ежели вам нужна, возьмите эти деньги. – Он швырнул ему кошелек. – Не дотрагивайтесь до меня, не дотрагивайтесь! – И Ростов выбежал из трактира, едва скрывая слезы.

Вечером того же дня на квартире Денисова шел оживленный разговор офицеров эскадрона.

– А я говорю вам, Ростов, что вам надо извиниться перед полковым командиром, – говорил, обращаясь к пунцово-красному, взволнованному Ростову, высокий штаб-ротмистр с седеющими волосами, огромными усами и крупными чертами морщинистого лица. Штаб-ротмистр Кирстен был два раза разжалован в солдаты за дела чести и два раза выслуживался. Человек, не верящий в Бога, был бы менее странен в полку, чем человек, не уважающий штаб-ротмистра Кирстена.

– Я никому не позволю себе говорить, что я лгу! – вскрикнул Ростов. – Он сказал мне, что я лгу, а я сказал ему, что он лжет. Так с тем и останется. На дежурство может меня назначать хоть каждый день, и под арест сажать, а извиняться меня никто не заставит, потому что ежели он как полковой командир считает недостойным себя дать мне удовлетворение, так...

– Да вы постойте, батюшка, вы послушайте меня, – перебил штаб-ротмистр своим басистым голосом, спокойно разглаживая свои длинные усы. – Вы при других офицерах говорите полковому командиру, что офицер украл.

– Не могу и не умею быть дипломатом, я не виноват, что разговор зашел при других офицерах. Я затем в гусары и пошел, думал, что здесь не нужно тонкостей, а он мне говорит, что я лгу... так пусть даст мне удовлетворение...

– Это все хорошо, никто не думает, что вы трус, да не в том дело. Спросите у Денисова, похоже это на что-нибудь, чтобы юнкер требовал удовлетворения у полкового командира?

Денисов, закусив ус, с мрачным видом слушал разговор, видимо, не желая вступать в него. На вопрос штаб-ротмистра он отрицательно покачал головой.

– Я тебе сказал, – обратился он к штаб-ротмистру, – суди ты, как знаешь. Я знаю только, что, кабы я вас не слушал и размочалил бы давно голову этому воришке (с самого начала мне его дух противен был), так ничего бы не было, и не было бы всей этой истории, сраму.

– Ну, да дело сделано, – продолжал штаб-ротмистр. – Вы при офицерах говорите полковому командиру про эту пакость. Богданыч (Богданычем называли полкового командира) вас осадил, вы наговорили ему глупостей, и надо вам извиниться.

– Ни за что! – крикнул Ростов.

– Не думал я этого от вас, – серьезно и строго сказал штаб-ротмистр. – Вы не хотите извиниться, а вы, батюшка, не только перед ним, а перед всем полком, перед всеми нами, вы кругом виноваты. А вот как: кабы вы подумали да посоветовались, как обойтись с этим делом, а то вы прямо, да при офицерах и бухнули. Что теперь делать полковому командиру? Надо отдать под суд офицера и замарать весь полк? Из-за одного негодяя весь полк осрамить? Так, что ли, по-вашему? А по-нашему – не так. И Богданыч молодец, он вам сказал, что вы неправду говорите. Неприятно, да что делать, батюшка, сами наскочили. А теперь, как дело хотят замять, так вы из-за фанаберии какой-то не хотите извиниться, а хотите все рассказать. Вам обидно, что вы подежурите, да что вам извиниться перед старым и честным офицером? Какой бы там ни был Богданыч, а все честный и храбрый старый полковник, так вам обидно, а замарать полк вам ничего? – Голос штаб-ротмистра начинал дрожать. – Вы, батюшка, в полку без году неделя, нынче здесь, завтра перешли куда в адъютантики, вам наплевать, что говорить будут: «Между павлоградскими офицерами воры!» А нам не все равно. Так, что ли, Денисов? Не все равно?

– Да, брат, руку бы дал свою отрубить, чтобы не было этого дела, – сказал Денисов, стукнув кулаком по столу.

– Вам своя фанаберия дорога, извиниться не хочется, – продолжал штаб-ротмистр, – а нам старикам, как мы выросли, да и умереть, Бог даст, придется в полку, так нам честь полка дорога, и Богданыч это знает. Ох, как дорога, батюшка! А это нехорошо, нехорошо. Там обижайтесь или нет, а я всегда правду-матку скажу. Нехорошо.

И штаб-ротмистр встал и отвернулся от Ростова.

– Правда, черт возьми! – закричал Денисов, начиная горячиться и поглядывая на Ростова. – Ну, Ростов! ну, Ростов! ну к черту ложный стыд, ну!

Ростов, краснея и бледнея, смотрел то на одного, то на другого офицера.

– Нет, господа, нет... вы не думайте... я очень понимаю, вы напрасно обо мне думаете так... я... для меня... я за честь полка... да что? это на деле я покажу, и для меня честь знамени... ну, все равно, правда, я виноват!.. – Слезы стояли у него в глазах. – Я виноват, кругом виноват!.. Ну, что вам еще?..

– Вот это так, граф, – поворачиваясь, крикнул штаб-ротмистр, ударяя его большою рукой по плечу.

– Я тебе говорю, – закричал Денисов, – он, черт возьми, малый славный.

– Так-то лучше, граф, – повторил штаб-ротмистр, как будто за его признание начиная величать его титулом. – Подите и извинитесь, ваше сиятельство, да-с.

– Господа, все сделаю, никто от меня слова не услышит, – умоляющим голосом проговорил Ростов, – но извиниться не могу, ей-богу не могу, как хотите! Как я буду извиняться, точно маленький, прощения просить?

Денисов засмеялся.

– Вам же хуже. Богданыч злопамятен, поплатитесь за упрямство.

– Ей-богу, не упрямство! Я не могу вам описать, какое чувство, не могу...

– Ну, ваша воля, – сказал штаб-ротмистр. – Что ж, мерзавец-то этот куда делся? – спросил он у Денисова.

– Сказался больным, завтра велено приказом исключить. Ох, попадись он мне, – проговорил Денисов, – как муху раздавлю.

– Это болезнь, иначе нельзя объяснить, – сказал штаб-ротмистр.

– Уж там болезнь, не болезнь, а пристрелил бы с радостью, – кровожадно прокричал Денисов.

В комнату вошел Жерков.

– Ты как? – обратились вдруг офицеры к вошедшему.

– Поход, господа, Макк в плен сдался и с армией, со всем.

– Врешь!

– Сам видел.

– Как? Макка живого видел? С руками, с ногами?

– Поход! Поход! Дать ему бутылку за такую новость. Ты как же сюда попал?

– Опять в полк выслали, за черта, за Макка. Австрийский генерал пожаловался. Я его поздравил с приездом Макка.

– Ты что, Ростов, точно из бани?

– Тут, брат, у нас такая каша второй день.

Вошел полковой адъютант и подтвердил известие, привезенное Жерковым. Назавтра велено было выступать.

– Поход, господа.

– Ну, и славу Богу, засиделись.

VI

Кутузов отступил к Вене, уничтожая за собой мосты на реках Инне (в Браунау) и Трауне (в Линце). 23-го октября русские войска переходили реку Энс. Русские обозы, артиллерия и колонны войск в середине дня тянулись через город Энс, по сю и по ту сторону моста. День был теплый, осенний и дождливый. Пространная перспектива, раскрывавшаяся с возвышения, где стояли русские батареи, защищавшие мост, то вдруг затягивалась кисейным занавесом косого дождя, то вдруг расширялась, и при свете солнца далеко и ясно становились видны предметы, точно покрытые лаком. Виднелся городок под ногами с своими белыми домами и красными крышами, собором и мостом, по обеим сторонам которого, толпясь, лились массы русских войск. Виднелись на повороте Дуная суда и остров, и замок с парком, окруженный водами впадения Энса в Дунай, виднелся левый скалистый и покрытый сосновым лесом берег Дуная с таинственною далью зеленых вершин и голубеющими ущельями. Виднелись башни монастыря, выдававшегося из-за соснового, казавшегося нетронутым, дикого леса, и далеко впереди, на горе, по ту сторону Энса, виднелись разезды неприятеля.

Между орудиями, на высоте, стояли впереди начальник арьергарда, генерал с свитским офицером, рассматривая в трубу местность. Несколько позади сидел на хоботе орудия князь Несвицкий, посланный от главнокомандующего к арьергарду. Казак, сопутствовавший Несвицкому, подал сумочку и фляжку, и Несвицкий угощал офицеров пирожками и настоящим допелькюмелем. Офицеры радостно окружали его, кто на коленях, кто сидя по-турецки на мокрой траве.

– Да, не дурак был этот австрийский князь, что тут замок выстроил. Славное место. Что же вы не едите, господа, – говорил Несвицкий.

– Покорно благодарю, князь, – отвечал один из офицеров, с удовольствием разговаривая с таким важным штабным чиновником. – Прекрасное место. Мы мимо самого парка проходили, двух оленей видели, и дом какой чудесный!

– Посмотрите, князь, – сказал другой, которому очень хотелось взять еще пирожка, но совестно было, и который поэтому притворялся, что он оглядывает местность, – посмотрите-ка, уж забрались туда наши пехотные. Вон там, на лужку, за деревней, трое тянут что-то. Они проберут этот дворец, – сказал он с видимым одобрением.

– И то, и то, – сказал Несвицкий. – Нет, а чего бы я желал, – прибавил он, прожевывая пирожок в своем красивом влажном рте, – так это вон туда забраться. – Он указывал на монастырь с башнями, видневшийся на горе. Он улыбнулся, глаза его сузились и засветились. – А ведь хорошо бы, господа!

Офицеры засмеялись.

– Хоть бы попугать этих монашенок. Итальянки, говорят, есть молоденькие. Право, пять лет жизни отдал бы.

– Им ведь и скучно, князь, – смеясь сказал офицер, который был посмелее.

Между тем свитский офицер, стоявший впереди, указывал что-то генералу; генерал смотрел в зрительную трубку.

– Ну, так и есть, так и есть, – сердито сказал генерал, опуская трубку от глаз и пожимая плечами, – так и есть, станут бить по переправе. И что они там мешкают?

На той стороне простым глазом виден был неприятель и его батарея, на которой показался молочно-белый дымок. Вслед за дымком раздался дальний выстрел, и видно было, как наши войска зашпешили на переправе.

Несвицкий, отдуваясь, поднялся и, улыбаясь, подошел к генералу.

– Не угодно ли закусить вашему превосходительству, – сказал он.

– Нехорошо дело, – сказал генерал, не отвечая ему, – замешкались наши.

– Не съездить ли, ваше превосходительство? – сказал Несвицкий.

– Да, съездите, пожалуйста, – сказал генерал, повторяя то, что уже раз подробно было приказано, – и скажите гусарам, чтоб они последние перешли и зажгли мост, как я приказывал, да чтобы горючие материалы на мосту еще осмотреть.

– Очень хорошо, – отвечал Несвицкий.

Он кликнул казака с лошадыю, велел убрать сумочку и фляжку и легко перекинул свое тяжелое тело на седло.

– Право, заеду к монашенкам, – сказал он офицерам, с хитрою улыбкой глядевшим на него, и поехал по выющейся тропинке под гору.

– Ну-тка, куда донесет, капитан, хватите-ка, – сказал генерал, обращаясь к артиллеристу. – Позабавьтесь от скуки.

– Прислуга к орудиям! – скомандовал офицер, и через минуту весело выбежали от костров артиллеристы и зарядили.

– Первое! – послышалась команда.

Бойко отскочил первый номер. Металлически оглушая, зазвенело орудие, и через головы всех наших под горой, свистя, перелетела граната и, далеко не долетев до неприятеля, дымком показала место своего падения и лопнула.

Лица солдат и офицеров повеселели при этом звуке; все поднялись и занялись наблюдениями над видными, как на ладони, движениями внизу наших войск и впереди – движениями приближавшегося неприятеля. Солнце в ту же минуту совсем вышло из-за туч, и этот красивый звук одинокого выстрела и блеск яркого солнца слились в одно бодрое и веселое впечатление.

VII

Над мостом уже пролетели два неприятельских ядра, и на мосту была давка. В середине моста, слезши с лошади, прижатый своим толстым телом к перилам, стоял князь Несвицкий. Он, смеясь, оглядывался назад на своего казака, который с двумя лошадьми в поводу стоял несколько шагов позади его. Только что князь Несвицкий хотел двинуться вперед, как опять солдаты и повозки напирали на него и опять прижимали его к перилам, и ему ничего не оставалось, как улыбаться.

– Экой ты, братец мой! – говорил казак фурштатскому солдату с повозкой, напиравшему на толпившуюся у самых колес и лошадей пехоту, – экой ты! Нет, чтобы подождать, видишь, генералу проехать. – Но фурштат, не обращая внимания на наименование генерала, кричал на солдат, запружавших ему дорогу. – Эй! землячки! держись влево, стой! – Но землячки, теснясь плечо с плечом, цепляясь штыками и не прерываясь, двигались по мосту одною сплошною массой. Поглядев за перила вниз, князь Несвицкий видел быстрые, мутные, невысокие волны Энса, которые, сливаясь, рябея и загибаясь около свай моста, перегоняли одна другую. Поглядев на мост, он видел столь же однообразные, живые волны солдат, кутасы, кивера с чехлами, ранцы, штыки, длинные ружья и из-под киверов лица, с широкими скулами, ввалившимися щеками и беззаботно усталыми выражениями, и движущиеся ноги по натасканной на доски моста липкой грязи. Иногда между однообразными волнами солдат, как взбрызг белой пены в волнах Энса, протискивался между солдатами офицер в плаще с своею отличною от солдат физиономией, иногда как щепка, вьющаяся по реке, уносился по мосту волнами пехоты пеший гусар, денщик или житель, иногда, как бревно, плывущее по реке, окруженная со всех сторон проплывала по мосту ротная или офицерская, наложенная доверху и прикрытая кожами, повозка.

– Вишь их, как плотину прорвало, – безнадежно останавливаясь, говорил казак. – Много ль вас еще там?

– Мелион без одного! – подмигивая, говорил близко проходивший в прорванной шинели веселый солдат и скрывался; за ним проходил другой, старый солдат.

– Как он (он – неприятель) таперича по мосту примется чесать, – говорил мрачно старый солдат, обращаясь к товарищу, – забудешь чесаться, – и солдат проходил. За ним другой солдат ехал на повозке.

– Куда, черт, подвертки запихал? – говорил денщик, бегом следуя за повозкой и шаря в задке. И этот проходил с повозкой. За этим шли веселые и, видимо, выпившие солдаты.

– Как он его, милый человек, полыхнет прикладом-то в самые зубы... – радостно говорил один солдат в высоко подоткнутой шинели, широко размахивая рукой.

– То-то оно, сладкая ветчина-то, – отвечал другой с хохотом.

И они прошли, так что Несвицкий не узнал, кого ударили в зубы и к чему относилась ветчина.

– Эк торопятся, что он холодную пустил. Так и думаешь, всех перебыют, – говорил унтер-офицер сердито и укоризненно.

– Как оно пролетит мимо меня, дяденька, ядро-то, – говорил едва удерживаясь от смеха с огромным ртом молодой солдат, – я так и обмер. Право, ей-богу, так испугался, беда! – говорил этот солдат, как будто хвастаясь тем, что он испугался.

И этот проходил; за ним следовала повозка, непохожая на все проезжавшие до сих пор. Это был немецкий форшпан на паре, нагруженный, казалось, целым домом; за форшпаном, который вез немец, привязана была красивая, пестрая, с огромным выменем, корова. На перинах сидела женщина с грудным ребенком, старуха и молодая, багрово-румяная, здоровая девушка, немка. Видно, по особому разрешению были пропущены эти выселявшиеся жители.

Глаза всех солдат обратились на женщин, и, пока проезжала повозка, двигаясь шаг за шагом, все замечания солдат относились только к двум женщинам. На всех лицах была почти одна и та же улыбка непристойных мыслей об этой женщине.

– Ишь колбаса-то, тоже убирается.

– Продай матушку, – ударяя на последнее слово, говорил другой солдат, обращаясь к немцу, который, опустив глаза, сердито и испуганно шел широким шагом.

– Эк убралась как! То-то черти!

– Вот бы тебе к ним стоять, Федотов!

– Видали, брат!

– Куда вы? – спрашивал пехотный офицер, евший яблоко, тоже полуулыбаясь и глядя на красивую девушку. Немец, закрывая глаза, показывал, что не понимает.

– Хочешь, возьми себе, – говорил офицер, подавая девушке яблоко. Девушка улыбнулась и взяла. Несвицкий, как и все бывшие на мосту, не спускал глаз с женщин, пока они не проехали. Когда они проехали, опять шли такие же солдаты, с такими же разговорами, и, наконец, все остановились. Как это часто бывает, на выезде моста замялись лошади в ротной повозке, и вся толпа должна была ждать.

– И что становятся? Порядку-то нет! – говорили солдаты. – Куда прешь? Черт! Нет того, чтобы подождать. Хуже того будет, как он мост подожжет. Вишь, и офицера-то притерли, – говорили с разных сторон остановившиеся толпы, оглядывая друг друга, и все жались вперед к выходу.

Оглянувшись под мост на воды Энса, Несвицкий вдруг услышал еще новый для него звук быстро приближающегося, чего-то большого и чего-то шлепнувшегося в воду.

– Ишь ты, куда фатает! – строго сказал близко стоявший солдат, оглядываясь на звук.

– Подбадривает, чтобы скорей проходили, – сказал другой беспокойно. Толпа опять тронулась. Несвицкий понял, что это было ядро.

– Эй, казак, подавай лошадь! – сказал он. – Ну, вы! сторонись! посторонись! дорогу!

Он с большим усилием добрался до лошади. Не переставая кричать, он тронулся вперед. Солдаты пожались, чтобы дать ему дорогу, но снова опять нажали на него так, что отдавили ему ногу, и ближайшие не были виноваты, потому что их давили еще сильнее.

– Несвицкий! Несвицкий! Ты рожа! – послышался в это время сзади хриплый голос.

Несвицкий оглянулся и увидел в пятнадцати шагах отделенного от него живую массой выдвигающейся пехоты красного, черного, лохматого, в фуражке на затылке и в молодецки накинута на плече ментике Ваську Денисова.

– Вели ты им, чертям, дьяволам, дать дорогу, – кричал Васька, видимо, находясь в припадке горячности, блестя и поводя своими черными, как уголь, глазами в воспаленных белках и махая невынутой из ножен саблей, которую он держал такую же красной, как и лицо, голою маленькую рукой.

– Э! Вася, – отвечал радостно Несвицкий. – Да ты что?

– Эскадрону пройти нельзя, – кричал Васька Денисов, злобно открывая белые зубы, шпоря своего красивого вороного кровного Бедуина, который, мигая ушами от штыков, на которые он натыкался, фыркал, брызгая вокруг себя пеной с мундштука, звеня, бил копытами по доскам моста и, казалось, готов был перепрыгнуть через перила моста, ежели бы ему позволил седок. – Что это? как бараны! точь-в-точь бараны! Точь... дай дорогу!.. Стой там! ты, повозка, черт! саблей изрублю... – кричал он, действительно вынимая наголо саблю и начиная махать ею.

Солдаты с испуганными лицами нажали друг на друга, и Денисов присоединился к Несвицкому.

– Что же ты не пьян нынче? – сказал Несвицкий Денисову, когда он подъехал к нему.

– И напиться-то времени не дадут! – отвечал Денисов. – Целый день то туда, то сюда таскают полк. Драться так драться. А то черт знает, что такое!

– Каким ты щеголем нынче! – оглядывая его новый ментик и вальтрап, сказал Несвицкий.

Денисов улыбнулся, достал из ташки платок, распространявший запах духов, и сунул в нос Несвицкому.

– Нельзя, в дело иду! Выбрился, зубы вычистил и надушился.

Осанистая фигура Несвицкого, сопровождаемая казаком, и решительность Денисова, махавшего саблей и отчаянно кричавшего, подействовали так, что они протискались на ту сторону моста и остановили пехоту. Несвицкий нашел у выезда полковника, которому ему надо было передать приказание и, исполнив свое поручение, поехал назад.

Расчистив дорогу, Денисов остановился у входа на мост. Небрежно сдерживая рвавшегося к своим и бившего ногой жеребца, он смотрел на двигавшийся ему навстречу эскадрон. По доскам моста раздались прозрачные звуки копыт, как будто скакало несколько лошадей, и эскадрон с офицерами впереди, по четыре человека в ряд, растянулся по мосту и стал выходить на ту сторону.

Молодой красавец Перонский, лучший ездок полка и богач, на трехтысячном жеребце, караулируя, ехал в замок. Остановленные пехотные солдаты, толпясь в растоптанной у моста грязи, с тем особенным недоброжелательным чувством отчужденности и насмешки, с каким встречаются обыкновенно различные роды войск, смотрели на чистых щеголеватых гусар, стройно проходивших мимо них.

– Нарядные ребята! Только бы на Подновинское!

– Что от них проку! Только на показ и водят! – говорил другой.

– Пехота, не пыли! – шутил гусар, под которым лошадь, заиграв, брызнула грязью в пехотинца.

– Прогонял бы тебя с ранцем перехода два, шнурки-то бы повытерлись, – обтирая рукавом грязь с лица, говорил пехотинец, – а то не человек, а птица сидит!

– То-то бы тебя, Зикин, на коня посадить, ловок бы ты был, – шутил ефрейтор над худым, скрюченным от тяжести ранца солдатиком.

– Дубинку промеж ног возьми, вот тебе и конь будет, – отозвался гусар.

VIII

Остальная пехота поспешно проходила по мосту, спираясь воронкой у входа. Наконец повозки все прошли, давка стала меньше, и последний батальон вступил на мост. Одни гусары эскадрона Денисова оставались по ту сторону моста против неприятеля. Неприятель, вдалеке видный с противоположной горы, снизу от моста не был еще виден, так как из лощины, по которой текла река, горизонт оканчивался противоположным возвышением не дальше полуверсты. Впереди была пустыня, по которой кое-где шевелились кучки наших разъездных казаков. Вдруг на противоположном возвышении дороги показались войска в синих капотах и артиллерия. Это были французы. Разъезд казаков рысью отошел под гору. Все офицеры и люди эскадрона Денисова, хотя и старались говорить о постороннем и смотреть по сторонам, не переставали думать только о том, что было там, на горе, и беспрестанно все вглядывались в выходившие на горизонт пятна, которые они признавали за неприятельские войска. Погода после полудня опять прояснилась, солнце ярко спускалось над Дунаем и окружающими его темными горами. Было тихо, и с той горы изредка долетали звуки рожков и криков неприятеля. Между эскадроном и неприятелями уже никого не было, кроме мелких разъездов. Пустое пространство, сажений в триста, отделяло их от него. Неприятель перестал стрелять, и тем яснее чувствовалась та строгая, грозная, неприступная и неуловимая черта, которая разделяет два неприятельских войска.

Один шаг за эту черту, напоминающую черту, отделяющую живых от мертвых, и неизвестность страдания и смерти. И что там? кто там? там, за этим полем, и деревом, и крышей, освещенной солнцем? Никто не знает, и хочется знать, и страшно перейти эту черту, и хочется перейти ее, и знаешь, что рано или поздно придется перейти ее и узнать, что там, по той стороне черты, как и неизбежно узнать, что там, по ту сторону смерти. А сам силен, здоров, весел и раздражен и окружен такими здоровыми и раздраженно-оживленными людьми. Хотя и не думает, но чувствует все это всякий человек, находящийся в виду неприятеля, и чувство это придает особенный блеск и радостную резкость впечатлений всего происходящего в эти минуты.

На бугре у неприятеля показался дымок выстрела, и ядро, свистя, пролетело над головами гусарского эскадрона. Офицеры, стоявшие вместе, разъехались по местам, гусары старательно стали выравнивать лошадей. В эскадроне все замолкло. Все поглядывали вперед на неприятеля и на эскадронного командира, ожидая команды. Пролетело другое, третье ядро. Очевидно, что стреляли по гусарам; но ядро, равномерно быстро свистя, пролетало над головами гусар и ударялось где-то сзади. Гусары не оглядывались, но при каждом звуке пролетающего ядра, будто по команде, весь эскадрон с своими однообразно-разнообразными лицами и подстриженными усами сдерживал дыхание, пока летело ядро, и, напрягая мышцы ног в натянутых синих рейтузах, приподнимался на стременах и снова опускался. Солдаты, не поворачивая головы, косились друг на друга, с любопытством высматривая впечатление товарища. На каждом лице, от Денисова до горниста, показалась около губ и подбородка одна общая черта борьбы раздраженности и волнения. Вахмистр хмурился, оглядывая солдат, как будто угрожая наказанием. Юнкер Миронов нагибался при каждом пролете ядра. Ростов, стоя на левом фланге на своем тронутым ногами, но видном Грачике, имел счастливый вид ученика, вызванного перед большою публикой к экзамену, в котором он уверен, что отличится. Он ясно и светло оглядывался на всех, как бы прося обратить внимание на то, как он спокойно стоит под ядрами. Но и в его лице та же черта чего-то нового и строгого, против его воли, показывалась около рта.

— Кто там кланяется? Юнкер Миронов! Нехорошо, на меня смотрите! — закричал Денисов, которому не стоялось на месте и который вертелся на лошади перед эскадроном.

Курносое и черноволосатое лицо Васьки Денисова и вся его маленькая сбитая фигурка с жилистою, с короткими пальцами, покрытыми волосами, кистью руки, в которой он держал эфес вынутой наголо сабли, было точно такое же, как и всегда, особенно к вечеру, после выпитых двух бутылок. Он был только более обыкновенного красен и, задрав свою мохнатую голову кверху, как птицы, когда они поют, безжалостно вдавив своими маленькими ногами шпоры в бока доброго Бедуина, он, будто падая назад, поскакал к другому флангу эскадрона и хриплым голосом закричал, чтоб осмотрели пистолеты. Проездом взглянул он на замкового красавца-офицера Перонского и поспешно отвернулся.

Перонский в гусарской полуформе, на своем тысячном коне, был очень красив. Но красивое лицо его было бледно как снег. Кровный его жеребец, чуя страшные над головой звуки, приходил в то рьяное бешенство породистой и выездженной лошади, которое так любят дети и гусары. То он фыркал, звеня цепочкой и кольцами мундштука, и бил мускулистою тонкою ногой землю, иногда не доставая ее, махал по воздуху, то, направо и налево поворачивая, насколько пускал мундштук, свою сухую голову, косился выпуклым и налитым кровью черным глазом на седока. Денисов, сердито отвернувшись от него, направился к Кирстену. Штаб-ротмистр на широкой и степенной кобыле шагом ехал навстречу Денисову. Штаб-ротмистр со своими длинными усами был серьезен, как и всегда, только глаза его блестели больше обыкновенного.

– Да что? – сказал он Денисову. – Не дойдет дело до атаки. Вот увидишь, назад уйдем.

– Черт их знает, что делают! – прокричал Денисов. – А! Ростов! – крикнул он юнкеру, заметив его. – Ну, дождался. – И он улыбнулся одобрительно, видимо радуясь на юнкера.

Ростов почувствовал себя совершенно счастливым. В это время начальник показался на мосту. Денисов поскакал к нему.

– Ваше превосходительство! Позвольте атаковать! Я их опрокину!

– Какие тут атаки, – сказал начальник скучливым голосом, морщась, как от докучливой мухи. – И зачем вы тут стоите? Видите, фланкеры отступают? Ведите назад эскадрон.

Эскадрон перешел мост и вышел из-под выстрелов, не потеряв ни одного человека. Вслед за ним перешел и второй эскадрон, бывший в цепи, и последние казаки очистили ту сторону.

IX

Два эскадрона павлоградцев, перейдя мост, один за другим пошли назад в гору. Полковой командир, Карл Богданович Шуберт, подъехал к эскадрону Денисова и ехал шагом недалеко от Ростова, не обращая на него никакого внимания, несмотря на то, что после бывшего столкновения за Телянина они виделись теперь в первый раз. Ростов, чувствуя себя во фронте во власти человека, перед которым он теперь считал себя виноватым, не спускал глаз с атлетической спины, белокурого затылка и красной шеи полкового командира. Ростову то казалось, что Богданыч только притворяется невнимательным и что вся цель его теперь состоит в том, чтобы испытать храбрость юнкера, и он выпрямлялся и весело оглядывался; то ему казалось, что Богданыч нарочно едет близко, чтобы показать Ростову свою храбрость. То ему думалось, что враг его теперь нарочно пошлет эскадрон в отчаянную атаку, чтобы наказать его, Николая. То думалось, что после атаки от подойдет к нему и великодушно протянет ему, раненому, руку примирения.

Знакомая павлоградцам, с высоко поднятыми плечами, фигура Жеркова подъехала к полковому командиру. Жерков, после своего изгнания из главного штаба, не остался в полку, говоря, что он не дурак во фронте ляжку тянуть, когда он при штабе, ничего не делая, получит наград больше, и умел пристроиться ординарцем к князю Багратиону. Он приехал к своему бывшему начальнику с приказанием от начальника арьергарда.

– Полковник, – сказал он с своею мрачною серьезностью, обращаясь к врагу Николая Ростова и оглядывая товарищей, – велено остановиться, мост зажечь.

– Кто велено? – угрюмо спросил полковник.

– Уж я и не знаю, полковник, кто велено, – наивно и серьезно отвечал корнет, – но только мне князь приказал: «Поезжай и скажи полковнику, чтобы гусары вернулись скорей и зажгли бы мост».

Вслед за Жерковым к гусарскому полковнику подъехал свитский офицер с тем же приказанием. Вслед за свитским офицером на казачьей лошади, которая насилу несла его галопом, подъехал толстый Несвицкий.

– Как же, полковник, – кричал он еще на езде, – я вам говорил мост зажечь; а теперь кто переврал, там все с ума сходят, ничего не разберешь.

Полковник неторопливо остановил полк и обратился к Несвицкому:

– Вы мне говорили про горючие вещества, – сказал он, – а про то, чтобы зажигать, вы мне ничего не говорили.

– Да как же, батюшка, – заговорил, остановившись, Несвицкий, снимая фуражку и расправляя пухлою рукой мокрые от пота волосы, – как же не говорил, что мост зажечь, когда горючие вещества положили.

– Я вам не «батюшка», господин штаб-офицер, а вы мне не говорили, чтобы мост зажигайт! Я служба зная, и мне в привычка приказания строго исполняйт. Вы сказали, мост зажгут, я святым духом не могу знать...

– Ну вот, всегда так, – махнув рукой, сказал Несвицкий.

– Ты как здесь? – обратился он к Жеркову.

– Да затем же. Однако ты отсырел, дай я тебя выжму.

– Вы сказали, господин штаб-офицер... – продолжал полковник обиженным тоном.

– Полковник, – перебил свитский офицер, – надо торопиться, а то неприятель пододвинет орудия на картечный выстрел.

Полковник молча посмотрел на свитского офицера, на толстого штаб-офицера, на Жеркова и нахмурился.

– Я буду мост зажигаю, – сказал он торжественным тоном, как будто, несмотря на все делаемые ему неприятности, он выражал этим свое великодушие.

Ударив своими длинными, мускулистыми ногами лошадь, как будто она была во всем виновата, полковник выдвинулся вперед и второму эскадрону, тому самому, в котором служил Ростов под командою Денисова, командовал вернуться назад к мосту.

«Ну, так и есть, – подумал Ростов, – он хочет испытать меня! – Сердце его сжалось, и кровь бросилась к лицу. – Пускай посмотрит, трус ли я?» – подумал он.

Опять на всех веселых лицах людей эскадрона появилась та серьезная черта, которая была на них в то время, как они стояли под ядрами.

Николай, не спуская глаз, смотрел на своего врага, полкового командира, желая найти на его лице подтверждение своих догадок; но полковник ни разу не взглянул на Николая, а смотрел, как всегда во фронте, строго и торжественно. Послышалась команда.

– Живо! Живо! – проговорило около него несколько голосов. Цепляясь саблями за поводья, гремя шпорами и торопясь, слезали гусары, сами не зная, что они будут делать. Гусары крестились. Ростов уже не смотрел на полкового командира, ему некогда было. Он боялся, с замиранием сердца боялся, как бы ему не отстать от гусар. Рука его дрожала, когда он передавал лошадь коноводу, и он чувствовал, как со стуком приливает кровь к его сердцу. Денисов, заваливаясь назад и крича что-то, проехал мимо него. Николай ничего не видел, кроме бежавших вокруг него гусар, цеплявшихся шпорами и бречавших саблями.

– Носилки! – крикнул чей-то голос сзади. Ростов не подумал о том, что значит требование носилок, он бежал, стараясь только быть впереди всех, но у самого моста он, не смотря под ноги, попал в вязкую, растоптанную грязь и, споткнувшись, упал на руки. Его obeжали другие.

– По обидной стороне, ротмистр, – слышался ему голос полкового командира, который, заехав вперед, стал верхом недалеко от моста с торжествующим и веселым лицом.

Ростов, обтирая испачканные руки о рейтузы, оглянулся на своего врага и хотел бежать дальше, полагая, что, чем он дальше уйдет вперед, тем будет лучше. Но Богданыч, хотя и не глядел, и не узнал Ростова, крикнул на него:

– Кто посредине моста бежит? На права сторона! Юнкер, назад! – сердито закричал он.

Но и тут Карл Богданович не обратил на него внимания; зато он обратился к Денисову, который, щеголяя храбростью, въехал верхом на доски моста.

– Зачем рискуаете, ротмистр! Вы бы слезли, – сказал полковник.

– Э! виноватого найдет, – отвечал Васяка Денисов, поворачиваясь на седле.

Между тем Несвицкий, Жерков и свитский офицер стояли вместе, вне выстрелов, и смотрели то на ту, то на эту небольшую кучку людей в желтых киверах, темно-зеленых куртках, расшитых шнурами, и синих рейтузах, копошившихся у моста, то на ту сторону, на приближавшиеся вдалеке синие капоты и группы с лошадьми, которые легко можно было принять за орудие.

«Зажгут или не зажгут мост? Кто прежде? Они добегут и зажгут мост или французы подъедут на картечный выстрел и перебьют их?» Эти вопросы с замиранием сердца невольно задавал себе каждый из того большого количества войск, которые стояли над мостом, и при ярком вечернем свете смотрели на мост и гусаров, и на ту сторону, на подвигавшиеся синие капоты со штыками и орудиями.

– Ох! достанется гусарам! – говорил Несвицкий. – Не дальше картечного выстрела теперь.

– Напрасно он так много людей повел, – сказал свитский офицер.

– И на самом деле, – сказал Несвицкий. – Тут бы двух молодцов послать, все равно бы.

– Ах, ваше сиятельство, – вмешался Жерков, не спуская глаз с гусар, но все с своею наивной манерой, из-за которой нельзя было догадаться, серьезно ли то, что он говорит, или нет. – Ах, ваше сиятельство! Как вы судите! Двух человек послать, а нам-то кто же Владимира

с бантом даст? А так-то, хоть и поколотят, да можно эскадрон представить, и самому бантик получить. Наш Богданыч порядки знает.

– Ну, – сказал свитский офицер, – это картечь. – Он показал на французские орудия, которые снимались с передков и поспешно отъезжали.

– Да врет он, – продолжал Жерков, – и меня представят, и мы под огнем были.

В это время на французской стороне, в тех группах, где были орудия, опять показался дымок, другой, третий, почти в одно время, и в ту минуту, как долетел звук первого выстрела, показался четвертый. Два звука один за другим, и третий.

– О-ох! – охнул Несвицкий, как будто от жгучей боли, хватая за руку свитского офицера. – Посмотрите, упал один, упал, упал.

– Два, кажется.

– Был бы я царь, никогда бы не воевал. И что они так долго!

Французские орудия поспешно заряжали. Пехота бегом двинулась к мосту. Опять, но в равных промежутках, показались дымки, и защелкала и затрещала картечь по мосту. Но в этот раз Несвицкий не мог видеть, что делалось на мосту. С моста поднялся густой дым. Гусары успели зажечь мост, и французские батареи стреляли по ним уже не для того, чтобы помешать, а для того, что орудия были наведены и было по ком стрелять. Французы успели сделать три картечные выстрела, прежде чем гусары вернулись к коноводам. Два залпа были сделаны неверно, и картечь всю перенесло, но зато последний выстрел попал в середину кучки гусар и повалил троих.

Николай Ростов, озабоченный своими отношениями к Богданычу, остановился на мосту, не зная, что ему делать. Рубить (как он всегда воображал себе сражение) было некого, помогать в зажжении моста он тоже не мог, потому что не взял с собою, как другие солдаты, жгута соломы. Он стоял и оглядывался, как вдруг затрещало по мосту, будто рассыпанные орехи, и один из гусар, ближе всех бывший от него, со стоном упал на перила. Николай подбежал к нему вместе с другими. Опять закричал кто-то: «Носилки!» Гусара подхватили четыре человека и стали поднимать.

– Оооо! Бросьте, ради Христа, – закричал раненый, но его все-таки подняли и положили. Фуражка упала с него. Ее подняли и бросили в носилки. Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть вдаль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! как ярко и торжественно опускающееся солнце! как ласково-глянцевито блестела вода в далеком Дунае! И еще лучше были далекие голубеющие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелья, залитые до макушек туманом сосновые леса... там тихо, счастливо... «Ничего, ничего бы я не желал, ничего бы не желал, ежели бы я только был там, – думал Николай. – Во мне одном и в этом солнце так много счастья, а тут... стоны, страдания, страх и эта неясность, эта поспешность... Вот опять кричат что-то и опять все побежали куда-то назад, и я бегу с ними, и вот она, вот она смерть надо мной, вокруг меня... мгновенье, и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья...» В эту минуту солнце стало скрываться за тучами; впереди Николая показались другие носилки. И страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и жизни, все слилось в одно болезненно-тревожное впечатление.

– Господи, Боже! Тот, кто там в этом небе, спаси, прости и защити меня! – прошептал про себя Николай.

Гусары подбежали к коноводам, голоса стали громче и спокойнее, носилки скрылись из глаз.

– Что, брат, понюхал пороху?... – прокричал ему над ухом голос Васьки Денисова.

– «Все кончилось, но я трус, да, я трус», – подумал Николай, и тяжело вздыхая, взял из рук коновода своего отставившего ногу Грачика и стал садиться.

– Что это было – картечь? – спросил он у Денисова.

– Да еще какая! – прокричал Денисов. – Молодцами работали! А работа скверная! Атака любезное дело, там весь горишь, себя не помнишь, а тут черт знает что, бьют, как в мишень.

И Денисов отъехал к остановившейся недалеко от Ростова группе полкового командира, Несвицкого, Жеркова и свитского офицера.

«Однако, кажется, никто не заметил», – думал про себя Ростов. И действительно, никто ничего не заметил, потому что каждому было знакомо то чувство, которое испытал в первый раз необстрелянный юнкер.

– Вот вам реляция и будет, – сказал Жерков, – глядишь, и меня в подпоручики производят.

– Доложите князю, что я мост зажигал, – сказал полковник торжественно и весело.

– А коли про потерю спросят?

– Пустячок! – пробасил полковник. – Два гусара ранено, и один наповал, – сказал он с видимою радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки, звучно отрубая красивое слово наповал.

X

Преследуемая сотысячною французской армией под начальством Бонапарта, встречаемая враждебно расположенными жителями, не доверяя более своим союзникам, испытывая недостаток продовольствия и принужденная действовать вне всех предвиденных условий войны, русская тридцатипятитысячная армия, под начальством Кутузова, поспешно отступала вниз по Дунаю, останавливаясь там, где она бывала настигнута неприятелем, и отбиваясь арьергардными делами, лишь насколько это было нужно для того, чтобы отступать, не теряя тяжестей. Были дела при Ламбахе, Амштеттене и Мельке, но, несмотря на храбрость и стойкость, признаваемую самими французами, с которою дрались русские, последствием этих дел было только еще быстрее отступление. Австрийские войска, избежавшие плена под Ульмом и присоединившиеся к Кутузову у Браунау, отделились теперь от русской армии, и Кутузов был предоставлен только своим слабым, истощенным силам. Защищать более Вену нельзя было и думать. Вместо наступательной, глубоко обдуманной по законам новой науки стратегии войны, план которой был передан Кутузову в его бытность в Вене австрийским гофкригсратом, единственная, почти недостижимая цель, представлявшаяся теперь Кутузову, состояла в том, чтобы, не погубив армии, подобно Макку под Ульмом, соединиться с войсками, шедшими из России.

28-го октября Кутузов с армией перешел на левый берег Дуная и в первый раз остановился, положив Дунай между собой и главными силами французов. 30-го он атаковал находившуюся на левом берегу Дуная дивизию Мортье и разбил ее. В этом деле в первый раз были взяты трофеи: знамя, орудия и два неприятельские генерала.

В первый раз после двухнедельного отступления русские войска остановились и после борьбы не только удержали поле сражения, но прогнали французов. Несмотря на то, что войска были раздеты, изнурены, на одну треть ослаблены отсталыми, ранеными, убитыми и больными; несмотря на то, что на той стороне Дуная были оставлены больные и раненые с письмом Кутузова, поручавшим их человеколюбию неприятеля; несмотря на то, что большие госпитали и дома в Кремсе, обращенные в лазареты, не могли уже вмещать в себе всех больных и раненых, несмотря на все это, остановка при Кремсе и победа над Мортье значительно подняли дух войска. Во всей армии и в главной квартире ходили самые радостные, хотя и несправедливые слухи о мнимом приближении колонн из России, о какой-то победе, одержанной австрийцами, и об отступлении испуганного Бонапарта.

Князь Андрей находился во время сражения при убитом в этом деле австрийском генерале Шмидте. Под ним была ранена лошадь, и сам он был слегка оцарапан в руку пулей. В знак особой милости главнокомандующего он был послан с известием об этой победе к австрийскому двору, находившемуся уже не в Вене, которой угрожали французские войска, а в Брюнне. В ночь сражения взволнованный, но не усталый (несмотря на свою слабую наружность, князь Андрей мог переносить физическую усталость гораздо лучше самых сильных людей), верхом приехав с донесением от Дохтурова в Кремс к Кутузову, князь Андрей был в ту же ночь отправлен курьером в Брюнн. Отправление курьером, кроме наград, означало важный шаг к повышению. Получив депешу, письма и поручения товарищей, князь Андрей ночью, при свете фонаря, вышел на крыльцо и сел в бричку.

– Ну, брат, – говорил Несвицкий, провожая его и обнимая, – вперед поздравляю с Марией-Терезией.

– Как честный человек говорю тебе, – отвечал князь Андрей, – ежели бы мне ничего не дали, мне все равно. Я так счастлив, так счастлив... что везу такие известия... что я сам видел... ты понимаешь меня.

То возбуждающее чувство опасности и сознания храбрости, которое испытал князь Андрей во время сражения, было только усилено бессонною ночью и поручением к австрийскому двору. Он был другим человеком, оживленным и ласковым.

– Ну, Христос с тобой...

– Прощай, душа моя. Прощайте, Козловский.

– Поцелуй же от меня хорошенькую ручку баронессы Зайфер.

И Cordial бутылочку хоть привези, коли место будет, – говорил Несвицкий.

– Привезу и поцелую.

– Прощай.

Бич хлопнул, и почтовая бричка поскакала по темно-грязной дороге мимо огней войск. Ночь была темная, звездная, дорога чернелась между белевшим снегом, выпавшим накануне, в день сражения. То перебирая впечатления прошедшего сражения, то радостно воображая впечатление, которое он произведет известием о победе, вспоминая проводы главнокомандующего и товарищей, князь Андрей испытывал чувство человека, долго ждавшего и, наконец, достигшего начала желаемого счастья. Как скоро он закрывал глаза, в ушах его раздавалась пальба ружей и орудий, которая сливалась со стуком колес и впечатлением победы. То ему начинало представляться, что русские бегут, что он сам убит; но он поспешно просыпался, со счастьем, как будто вновь узнавал, что ничего этого не было и что, напротив, французы бежали. Он снова вспоминал все подробности победы, своего спокойного мужества во время сражения и, успокоившись, задремывал... После темной звездной ночи наступило яркое веселое утро. Снег таял на солнце, лошади быстро скакали, и безразлично вправо и влево проходили новые разнообразные леса, поля, деревни.

На одной из станций он обогнал обоз русских раненых. Русский офицер, ведущий транспорт, развалился на передней телеге, что-то кричал, ругая грубыми словами солдата. В длинных немецких форшпанах тряслось по каменистой дороге по шести и более бледных, перевязанных и грязных раненых. Некоторые из них говорили (он слышал русский говор), другие ели хлеб, самые тяжелые, молча, с кротким и болезненным детским участием, смотрели на скачущего мимо их курьера.

«Несчастные! – подумал князь Андрей, – а и они нужны...» Он велел остановиться и спросил у солдата, в каком деле ранены.

– Позавчера на Дунаю, – отвечал солдат. Князь Андрей достал кошелек и дал солдату три золотых.

– На всех, – прибавил он, обращаясь к подошедшему офицеру. – Поправляйтесь, ребята, – обратился он к солдатам, – еще дела много.

– Что, господин адъютант, какие новости? – спросил офицер, видимо, желая разговаривать.

– Хорошие. Вперед! – крикнул он ямщику и поскакал далее. Уже было совсем темно, когда князь Андрей въехал в Брюнн и увидел себя окруженным высокими домами, огнями лавок, окон, домов и фонарей, шумящими по мостовой красивыми экипажами и всею тою атмосферой большого оживленного города, которая всегда так привлекательна для военного человека после лагеря. Князь Андрей, несмотря на быструю езду и бессонную ночь, подъезжая ко дворцу, чувствовал себя еще более оживленным, чем накануне. Только глаза блестели лихорадочным блеском, и мысли изменялись с чрезвычайною быстротой и ясностью. Живое представились ему опять все подробности сражения, уже не смутно, но определенно, в сжатом изложении, которое он в воображении делал императору Францу. Живое представлялось ему лицо императора и все случайные вопросы, которые могли быть ему сделаны, и те ответы, которые он сделает на них. Он полагал, что его сейчас же представят императору. Но у большого подъезда дворца к нему выбежал чиновник и, узнав в нем курьера, проводил его на другой подъезд.

– Из коридора направо; там, ваше высочество, найдете дежурного флигель-адъютанта. Он проводит к военному министру.

Дежурный флигель-адъютант, встретивший князя Андрея, попросил его подождать и пошел к военному министру. Через пять минут флигель-адъютант вернулся и, особенно учтиво наклоняясь и пропуская князя Андрея вперед себя, провел его через коридор в кабинет, где занимался военный министр. Флигель-адъютант своею изысканною учтивостью, казалось, хотел оградить себя от попыток фамильярности русского адъютанта. Радостное чувство князя Андрея значительно ослабело, когда он подходил к двери кабинета военного министра. Он почувствовал себя оскорбленным, и, как это всегда бывало в его гордой душе, чувство оскорбления перешло в то же мгновение незаметно для него самого в чувство презрения, ни на чем не основанного. Находчивый же ум в то же мгновение подсказал ему ту точку зрения, с которой он имел право презирать и адъютанта, и военного министра. «Им, должно быть, очень легко покажется одерживать победы, не нюхая пороха», – подумал он. Глаза его презрительно прищурились, члены безжизненно опустились, и он, как бы с трудом волоча ноги, вошел в кабинет военного министра. Чувство это еще более усилилось, когда он увидел военного министра, сидящего над большим столом и первые две минуты не обращавшего внимания на вошедшего. Военный министр опустил свою лысую, с седыми висками голову между двух восковых свечей и читал, отмечая карандашом, бумаги. Он дочитывал, не поднимая головы, в то время как отворилась дверь и послышались шаги.

– Возьмите это и передайте, – сказал военный министр своему адъютанту, подавая бумаги и не обращая еще внимания на курьера.

Князь Андрей почувствовал, что либо из всех дел, занимавших военного министра, действия кутузовской армии менее всего могли его интересовать, либо нужно было это дать почувствовать русскому курьеру. «Но мне это все равно», – подумал он. Военный министр сдвинул остальные бумаги, сравнял их, края с краями, и поднял голову. У него была умная и характерная голова. Но в то же мгновение, как он обратился к князю Андрею, умное и твердое выражение лица военного министра, видимо, привычно и сознательно изменилось, на лице его остановилась глупая, притворная, не скрывающая своего притворства улыбка человека, принимающего одного за другим много просителей.

– От генерал-фельдмаршала Кутузова? – спросил он. – Надеюсь, хорошие вести? Было столкновение с Мортье? Победа? Пора!

Он взял депешу, которая была на его имя, и стал читать ее с грустным выражением.

– Ах, боже мой! боже мой! Шмидт! – сказал он по-немецки. – Какое несчастье, какое несчастье! – Пробежав депешу, он положил ее на стол и взглянул на князя Андрея, видимо, что-то соображая. – Ах, какое несчастье! Дело, вы говорите, решительное? Мортье не взят, однако. – Он подумал. – Очень рад, что вы привезли хорошие вести, хотя смерть Шмидта есть дорогая плата за победу. Его величество, верно, пожелает вас видеть, но не нынче. Благодарю вас, отдохните. Завтра будьте на выходе после парада. Впрочем, я вам дам знать.

Исчезнувшая во время разговора глупая улыбка опять явилась на лице военного министра.

– До свидания, очень благодарю вас. Государь император, вероятно, пожелает вас видеть, – повторил он и наклонил голову.

Князь Андрей вышел в приемную. Там были два адъютанта, которые говорили между собою, видимо, о чем-то совершенно не относящемся до приезда князя Андрея. Один из них с неохотой встал, и все с тою же оскорбительною учтивостью попросил князя Андрея записать свой чин, звание и адрес в поданную ему адъютантом книгу. Князь Андрей молча исполнил его желание и, не взглянув на него, вышел из приемной.

Когда он вышел из дворца, он почувствовал, что весь интерес и счастье, доставленные ему победой, оставлены им теперь и переданы в равнодушные руки военного министра и учти-

вого адъютанта. Весь склад мыслей его мгновенно изменился, сражение представилось ему давнишним, далеким воспоминанием; ближайшими и интереснейшими предметами стали для него прием военного министра, учтивость адъютанта и предстоящее представление императору.

XI

Князь Андрей поехал к русскому дипломату Билибину. Немец, слуга дипломата, узнал князя Андрея, который останавливался у Билибина во время своего приезда в Вену, и, встречая его, словоохотливо говорил.

– Герр фон Билибин должны были оставить свою квартиру в Вене. Проклятый Бонапарт! – говорил дипломатический слуга. – Сколько несчастий, сколько убытку, беспорядков произвел!

– Здоров господин Билибин? – спросил князь Андрей.

– Не совсем здоровы, не выезжают еще, а очень рады будут вас видеть. Сюда пожалуйте. Вещи ваши выберут. Казак здесь останется? Вот и они услышали.

– А, милый князь, нет приятнее гостя, – сказал Билибин, выходя навстречу. – Франц, в мою спальню вещи князя. Что, вестником победы? Прекрасно. А я сижу больной, как видите.

– Да, вестником победы, – отвечал князь Андрей, – но, как кажется, не очень желанный.

– Ну, коли вы не устали, расскажите же мне за ужином ваши высокие подвиги, – сказал Билибин, усаживаясь с ногами на кушетке в углу камина, когда князь Андрей, умывшись и одевшись, вышел в роскошный кабинет дипломата и сел за приготовленный обед. – Франц, поправь экран, а то князю будет жарко.

Князь Андрей не только после своего путешествия, но и после всего похода, во время которого он был лишен всех удобств чистоты и изящества жизни, испытывал приятное чувство отдыха среди тех роскошных условий жизни, к которым он привык с детства. Кроме того, ему было приятно после австрийского приема поговорить хоть не по-русски (они говорили по-французски), но с русским человеком, который, он знал, разделял его отвращение (теперь особенно живо испытываемое) к австрийцам. Неприятно действовало на него только то, что Билибин слушал его рассказ почти с таким же недоверием и равнодушием, с каким слушал его и австрийский министр военный.

Билибин был человек лет тридцати пяти, холостой, одного общества с князем Андреем. Они были знакомы еще в Петербурге, но сблизились особенно в последний приезд князя Андрея в Вену вместе с Кутузовым. Билибин просил его, в случае приезда в Вену, непременно остановиться у него. Как князь Андрей был молодой человек, обещающий пойти далеко на военном поприще, так и еще более обещал Билибин на дипломатическом. Он был еще молодой человек, но уже немолодой дипломат, так как он начал служить с шестнадцати лет, был в Париже, в Копенгагене и теперь в Вене и занимал довольно значительное место. И канцлер, и наш посланник в Вене знали его и дорожили им. Он был не из того большого количества дипломатов, которые обязаны иметь только отрицательные достоинства, не делать известных вещей и говорить по-французски, для того чтобы быть очень хорошими дипломатами. Он был один из тех дипломатов, которые любят и умеют работать, и, несмотря на свою лень, он иногда проводил ночи за письменным столом. Он работал одинаково хорошо, в чем бы ни состояла сущность работы. Его интересовал не вопрос «зачем?», а вопрос «как?». В чем состояло дипломатическое дело, ему было все равно, но составить искусно, метко и изящно циркуляр, меморандум или донесение – в этом он находил большое удовольствие. Заслуги Билибина ценились, кроме письменных работ, еще и по его искусству обращаться и говорить в высших сферах.

Билибин любил разговор так же, как он любил работу, только тогда, когда разговор мог быть изящно остроумен. В обществе он постоянно выжидал случая сказать что-нибудь замечательное и вступал в разговор не иначе как при этих условиях. Разговор Билибина постоянно пересыпался оригинально-остроумными, законченными фразами, имеющими общий интерес. Эти фразы изготовлялись во внутренней лаборатории Билибина как будто нарочно портатив-

ного свойства для того, чтобы ничтожные светские люди удобно могли запоминать их и переносить из гостиных в гостиные. И действительно, отзывы Билибина расходились по всем гостиным Вены, часто повторялись и часто имели влияние на так называемые важные дела.

Худое, истощенное, необыкновенной белизны лицо его было все покрыто крупными, молодыми морщинами, которые всегда казались так чисто плотно и старательно промыты, как кончики пальцев после бани. Движения этих морщин составляли главную игру его физиономии. То у него морщился лоб широкими складками, брови поднимались кверху, то брови опускались книзу, и у щек образовывались крупные морщины. Глубоко поставленные небольшие глаза всегда смотрели прямо и весело.

Во всем лице, фигуре его и звуке голоса, несмотря на утонченность одежды, утонченность приемов и французского, изящного языка, которым он говорил, резко выражались черты русского человека.

Болконский самым скромным образом, ни разу не упоминая о себе, рассказал дело и прием военного министра.

– Они приняли меня с этой вестью, как принимают собаку при игре в кегли, – заключил он.

Билибин усмехнулся и распустил складки кожи.

– Однако, мой милый, – сказал он, рассматривая издалека свой ноготь и опять подбирая кожу над левым глазом, – при всем моем уважении к православному воинству, я полагаю, что победа ваша не из самых блестящих.

Он продолжал все так же на французском языке, произнося по-русски только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть.

– Как же? Вы со всею массой своею обрушились на несчастного Мортье при одной дивизии, и этот Мортье уходит у вас между рук? Где же победа?

– Однако, серьезно говоря, – отвечал князь Андрей, отодвигая тарелку, – все-таки мы можем сказать без хвастовства, что это немного лучше Ульма.

– Отчего вы не взяли нам одного, хоть одного маршала?

– Оттого, что не все делается, как предполагается, и не так регулярно, как на параде. Мы полагали, как я вам говорил, зайти в тыл к семи часам утра, а не пришли и к пяти вечера.

– Отчего же вы не пришли к семи часам утра? Вам надо было прийти в семь часов утра, – улыбаясь, сказал Билибин, – вот и надо было прийти в семь часов утра.

– Отчего вы не внушили Бонапарту дипломатическим путем, что ему лучше оставить Геную? – тем же тоном спросил князь Андрей.

– Я знаю, – перебил Билибин, – вы думаете, что очень легко брать маршалов, сидя на диване перед камином. Это правда, а все-таки зачем вы его не взяли? И не удивляйтесь, что не только военный министр, но и августейший император и король Франц не будут очень осчастливлены вашей победой, да и я, несчастный секретарь русского посольства, не чувствую никакой потребности в знак радости дать моему Францу талер и отпустить его со своей подружкой на Пратер... Правда, здесь нет Пратера.

Он посмотрел прямо на князя Андрея и вдруг спустил собранную кожу со лба.

– Теперь мой черед спросить вас «отчего», мой милый, – сказал Болконский. – Я вам признаюсь, что не понимаю, может быть, тут есть дипломатические тонкости выше моего слабого ума, но я не понимаю. Макк теряет целую армию, эрцгерцог Фердинанд и эрцгерцог Карл не дают никаких признаков жизни и делают ошибки за ошибками, наконец, один Кутузов одерживает действительную победу, уничтожает очарование французов, и военный министр не интересуется даже знать подробности.

– Именно от этого, мой милый. Возьмите же еще кусок жаркого, больше ничего не будет.

– Спасибо.

– Видите ли, мой милый, ура! за царя, за Русь, за веру! – все это прекрасно и хорошо, но что нам, я говорю, австрийскому двору, за дело до ваших побед? Привезите вы нам сюда хорошенькое известие о победе эрцгерцога Карла или Фердинанда, один эрцгерцог стоит другого, как вам известно, – хоть над ротой пожарной команды Бонапарта, это другое дело, мы прогреем в пушки. А то это, как нарочно, может только дразнить нас. Эрцгерцог Карл ничего не делает, эрцгерцог Фердинанд покрывается позором, Вену вы бросаете, не защищаете больше, как если бы нам сказали: с нами Бог, а бог с вами, с вашей столицей; один генерал, которого мы все любили, Шмидт, вы его подводите под пулю и поздравляете нас с победой!.. Вы взяли в плен каких-то двух дебардеров, наряженных в бонапартовских генералов. Согласитесь, что раздражительнее того известия, которое вы привозите, нельзя придумать. Это как нарочно, как нарочно. Кроме того, ну, одержи вы точно блестящую победу, одержи победу даже эрцгерцог Карл, что же бы это переменяло в общем ходе дел? Теперь уж поздно, когда Вена занята французскими войсками.

– Как занята? Вена занята?

– Не только занята, но Бонапарт в Шенбрунне, а граф, ваш милый граф Врбна, отправляется к нему за приказаниями.

Болконский, после усталости и впечатлений путешествия, приема и в особенности после обеда, чувствовал, что он не понимает всего значения слов, которые он слышал.

– Это совсем другое дело, – сказал он и, достав зубочистку, придвинулся к камину.

– Нынче утром был здесь граф Лихтенфельс, – продолжал Билибин, – и показывал мне письмо, в котором подробно описан парад французов в Вене. Принц Мюрат, и все такое... Вы видите, что ваша победа не очень-то радостна и что вы не можете быть приняты как спаситель...

– Право, для меня все равно, совершенно все равно, – сказал князь Андрей, начиная понимать, что известие его о сражении под Кремсом действительно имело мало важности ввиду таких событий, как занятие столицы Австрии. – Как же Вена взята? А мост и знаменитое мостовое укрепление, и князь Ауэрсберг? У нас были слухи, что князь Ауэрсберг защищает Вену, – сказал он.

– Князь Ауэрсберг стоит на этой, на нашей, стороне и защищает нас, я думаю, очень плохо защищает, но все-таки защищает. А Вена на той стороне. Нет, мост еще не взят, и надеюсь не будет взят, потому что он минирован и его велено взорвать. В противном случае мы были бы давно в горах Богемии, и вы с вашей армией провели бы дурную четверть часа между двух огней.

– Ежели так, то кампания кончена, – сказал князь Андрей.

– Вот это и я тоже думаю. И так думают большие колпаки здесь, но не смеют сказать этого. Будет то, что я говорил в начале кампании, что не ваша дюренштейнская стачка, вообще не порох решит дело, а те, кто его выдумали, – сказал Билибин, повторяя одно из своих словечек, распуская кожу на лбу и приостанавливаясь. – Вопрос только в том, что скажет берлинское свидание императора Александра с прусским королем. Ежели Пруссия вступит в союз, принудят Австрию, и будет война. Ежели же нет, то дело только в том (возьмите же эту грушу, она очень хороша), чтоб условиться, где составлять первоначальные статьи нового Кампо Формио.

– Но что за необычайная гениальность! – вдруг вскрикнул князь Андрей, сжимая свою маленькую руку и ударяя ею по столу. – И что за счастье этому человеку!

– Буонапарт? – вопросительно сказал Билибин, морща лоб и этим давая чувствовать, что сейчас будет шутка. – Буонапарт? – сказал он, ударяя особенно на у. – Я думаю, однако, что теперь, когда он предписывает законы Австрии из Шенбрунна, надо его избавить от у. Я решительно делаю нововведение, и называю его просто Бонапарт. Хотите еще или нет кофею? Франц!

– Нет, без шуток, – сказал князь Андрей, – вы в состоянии знать. Как вы думаете, чем кончится все это?

– А я вот что думаю. Австрия осталась в дурах, а она к этому не привыкла, и она отплатит. А в дурах она осталась оттого, что, во-первых, провинции разорены (говорят, что православное ужасно по части грабежа), армия разбита, столица взята, и все это ради прекрасных глаз сардинское величество.

– Ждут государя? – спросил князь Андрей.

– Каждый день. Нас обманут; уже теперь я чутьем слышу сношения с Францией и проекты мира, тайного мира, отдельно заключенного.

– Это будет мило! – сказал князь Андрей.

– Поживем – увидим.

Они помолчали.

Билибин распустил опять кожу в знак окончания разговора.

– А знаете, вы в последний приезд одержали здесь совершенную победу над баронессой Зайфер?

– Что, она все такая же восторженная? – спросил князь Андрей, вспоминая одну из приятных женщин, между которыми он имел большой успех в свой приезд в Вену с Кутузовым.

– Одна она женщина, а не дама, – сказал свою шутку Билибин. – Завтра поедем к ней. Для вас и для нее я не повинуюсь моему доктору. Надо, чтобы хорошо провести эти дни здесь. Каков бы ни был австрийский кабинет, люди, особенно женщины, необыкновенно милы, и я ничего не желал бы, как провести всю свою жизнь в Вене. Ах, знаете, кто постоянный посетитель ее гостиной? Наш Ипполит Курагин. Это самый откровенный дурак, какого я видел. Завтра вы его увидите у меня. Наши собираются у меня по четвергам, и вы всех их увидите. Ну, однако, идите спать; я вижу, что вы падаете.

Когда князь Андрей пришел в приготовленную для него комнату и в чистом белье лег на пуховики и душистые гретые подушки, он почувствовал, что то сражение, о котором он привез известие, было далеко, далеко от него. Прусский союз, Ипполит Курагин, баронесса Зайфер, измена Австрии, новое торжество Бонапарта, выход, и парад, и прием императора Франца на завтра занимали его. Он закрыл глаза, но в то же мгновение в ушах его затрещала канонада, пальба, стук колес экипажа, и вот опять спускаются с горы растянутые ниткой мушкетеры, и французы стреляют, и он чувствует, как содрогается его сердце, и он выезжает вперед рядом с Шмидтом, и пули весело свистят вокруг него, и он испытывает то чувство удесятенной радости жизни, какого он не испытывал с самого детства. Он пробудился...

– Да, все это было!.. – сказал он, счастливо, по-детски улыбаясь сам себе, и заснул крепким молодым сном.

XII

На другой день он проснулся поздно. Возобновляя впечатление прошедшего, он вспомнил прежде всего то, что нынче надо представляться императору Францу, вспомнил военного министра, учтивого австрийского флигель-адъютанта, Билибина и разговор вчерашнего вечера. Воспоминание о сражении представлялось ему чем-то давно, давно прошедшим и незначашим. Одевшись в полную парадную форму, которой он уже давно не надевал, для поездки во дворец, он, свежий, оживленный и красивый, с подвязанной рукой, более в великосветском и придворном, чем в военном настроении духа, вошел в кабинет Билибина. В кабинете уже сидели, лежали и стояли несколько господ дипломатического корпуса, посещавших Билибина, которых он называл – наши. Большинство были русские, но был один англичанин и один швед. Со многими из них, как с князем Ипполитом, Болконский был знаком; с другими его познакомил Билибин, называя Болконского вестником победы, о которой уже было известно всему городу.

– Перья... – сказал Билибин, указывая на своих, – шпага, – сказал он, указывая на Болконского. – Господа, рекомендую вам одного из тех людей, которые имеют искусство быть всегда счастливы. Он всегда был любим самыми милыми женщинами, владеет самую милою женой, прекрасною наружностью и никогда не был и не будет ранен в нос, в живот или еще хуже, как мой знакомый капитан Гнилопупов. Славная фамилия! К несчастью, вы, господа иностранцы, – обратился он к англичанину и шведу, – не можете оценить всей прелести и благозвучности этого имени. Нет, господа, объясните мне, пожалуйста, отчего капитана Гнилопупова ранят непременно в нос или просто убьют, а такого человека, как Болконский, в руку, чтобы придать ему еще более привлекательности в глазах женщин.

Гости, бывавшие у Билибина, светские, молодые, богатые и веселые люди, составляли и в Вене, и здесь отдельный кружок, который Билибин, бывший главой этого кружка, называл наши, – *les n^otres*. В кружке этом, состоявшем почти исключительно из дипломатов, видимо, были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы. Эти господа, по-видимому, охотно, как своего (честь, которую они делали немногим), приняли в свой кружок князя Андрея. Из учтивости и как предмет для вступления в разговор ему сделали несколько вопросов об армии и сражении, и разговор опять рассыпался на непоследовательные веселые шутки и пересуды. Все они говорили по-французски. И, несмотря на привычку их к этому языку и их оживление, разговор имел характер притворства или подражания какому-то чужому веселью.

– Но особенно хорошо, – говорил один, рассказывая неудачу товарища-дипломата, – особенно хорошо то, что канцлер прямо сказал ему, что назначение его в Лондон есть повышение и чтоб он так и смотрел на это. Видели бы вы его фигуру при этом!.. Но что всего хуже, господа, я вам выдаю Курагина: человек в несчастии, и этим-то пользуется этот донжуан, этот ужасный человек.

Князь Ипполит лежал в вольтеровском кресле, положив ноги через ручку; он дико засмеялся.

– Ну-ка, ну-ка, – сказал он.

– О, донжуан! О, змея, – слышались голоса.

– Вы не знаете, Болконский, – обратился Билибин к князю Андрею, – что все ужасы французской армии (я чуть было не сказал русской армии) ничто в сравнении с тем, что надеялся между женщинами этот человек.

– Женщина – подруга мужчины, – сентенциозно произнес князь Ипполит и стал смотреть в лорнет на свои поднятые ноги.

Билибин и наши бесцеремонно расхохотались, глядя в глаза Ипполиту. Князь Андрей видел, что этот Ипполит, которого он (должно было признаться) почти ревновал к своей жене, был просто шутом этой веселой компании.

– Нет, я должен вас угостить Курагиным, – сказал Билибин тихо Болконскому. – Он прелестен, когда рассуждает о политике; надо видеть эту важность.

Он подсел к Ипполиту и, собрав на лбу свои складки, завел с ним разговор о политике. Князь Андрей и другие обступили обоих.

– Берлинский кабинет не может выразить свое мнение о союзе, – начал Ипполит, значительно оглядывая всех, – не выражая... как в своей последней ноте... вы понимаете... вы понимаете... впрочем, если его величество император не изменит сущности нашего союза...

Князь Андрей, несмотря на то, что наши с радостными лицами слушали Ипполита, с отвращением отошел; но Ипполит схватил его за руку.

– Подождите, я не кончил... – продолжал он, желая, очевидно, внушить новому лицу уважение к своим политическим соображениям. – Я думаю, что вмешательство будет прочнее, чем невмешательство. И... – он помолчал, – невозможно считать дело оконченным неприятием нашей депеши от 28 ноября. Вот чем все это кончится.

И он отпустил руку Болконского, показывая тем, что теперь он совсем кончил.

– Демосфен! Я узнаю тебя по камешку, который ты скрываешь в своих золотых устах, – сказал Билибин, у которого шапка волос подвинулась на голове от удовольствия.

И все засмеялись дружным и оживленным хохотом, особенно возбуждаемым от хохота самого Ипполита, который, видимо, страдал, задыхался, но не мог удержаться от дикого смеха, причем растягивалось его всегда неподвижное лицо.

– Ну, вот что, господа, – сказал Билибин, – Болконский мой гость, в доме и здесь. И я хочу его угостить, сколько могу, всеми радостями здешней жизни. Если бы мы были в Вене, это было бы легко; но здесь, в этой скверной моравской дыре, это трудно, и я прошу у всех вас помощи. Надо показать ему Брюнн. Вы возьмите на себя театр, я общество; вы, Ипполит, разумеется, женщин.

– Надо ему показать Амели, прелесть! – сказал одни из наших, целуя кончики пальцев. – Поедемте со мной.

– А оттуда едем к баронессе Зайфер. Я для вас выезжаю нынче первый раз, а ночь ваша, коли вы желаете ею воспользоваться. Кто-нибудь из господ может вас руководить.

– Вообще этого кровожадного солдата Болконского, – сказал кто-то, – надо обратить к более человеколюбивым взглядам.

– И чтоб он полюбил наш Брюнн и нашу Вену милую!

– Однако мне пора ехать, – взглядывая на часы, сказал Болконский, который, несмотря на суету разговора, ни на минуту не забывал предстоящего представления императору.

– Куда вы?

– К императору.

– О! О! О!

– Ну, до свидания, Болконский! До свидания, князь, приезжайте же обедать раньше, – слышались голоса. – Мы беремся за вас.

– Старайтесь как можно более расхваливать порядок в доставлении провианта и маршрутов, когда будете говорить с императором, – сказал Билибин, провожая до передней Болконского.

– И желал бы хвалить, но не могу, сколько знаю, – улыбаясь отвечал Болконский.

– Ну, вообще как можно больше говорите. Его страсть – аудиенции, а говорить сам он не любит и не умеет, как увидите.

ХІІІ

Император Франц подошел к князю Андрею, стоявшему в назначенном месте между австрийскими офицерами на выходе, и сказал ему скоро несколько невнятных, но, очевидно, ласковых слов и прошел дальше. После выхода вчерашний флигель-адъютант, сделавшийся нынче совсем другим, учтивым и деликатным человеком, передал Болконскому желание императора видеть его еще раз. Прежде чем вступить в кабинет, князь Андрей, при виде шептавшихся придворных, при виде того уважения, которое ему оказывали теперь, когда узнали, что он будет принят императором, почувствовал, что и его волновало предстоящее свидание. Но опять это чувство волнения в одно мгновение превратилось в его душе в чувство презрения к условному величию и к этой толпе шепчущих придворных, готовых изменить себе и правде в угоду императору. «Нет, – сказал себе князь Андрей, – в какое бы трудное положение ни был я поставлен предстоящим свиданием, я откину все соображения и скажу одну полную и прямую правду». Но разговор, который произошел между им и императором, не подал ему случая говорить ни правды, ни неправды. Император Франц принял его, стоя посредине комнаты. Перед тем, как начинать разговор, князя Андрея поразило то, что император как будто смешался, не зная, что сказать, и покраснел.

– Скажите, когда началось сражение? – спросил он поспешно. Князь Андрей ответил. После этого вопроса следовали другие, столь же простые вопросы: «здоров ли Кутузов», «как давно выехал он из Кремса?» и т. п. Император говорил с таким выражением, как будто вся цель его состояла только в том, чтобы сделать известное количество вопросов. Ответы же на эти вопросы, как было слишком очевидно, не могли интересовать его.

– В котором часу началось сражение? – спросил император.

– Не могу донести вашему величеству, в котором часу началось сражение с фронта, но в Дюренштейне, где я находился, войско начало атаку в шестом часу вечера, – сказал Болконский, оживляясь и при этом случае предполагая, что ему удастся представить уже готовое в его голове, правдивое описание всего того, что он знал и видел. Но император улыбнулся и перебил его.

– Сколько миль?

– Откуда и докуда, ваше величество?

– От Дюренштейна до Кремса?

– Три с половиною мили, ваше величество.

– Французы оставили левый берег?

– Как доносили, лазутчики в ночь на плотях переправились последние.

– Достаточно ли фуража в Кремсе?

– Фураж не был доставлен в том количестве...

Император перебил его.

– В котором часу убит генерал Шмидт?..

Сделав этот последний вопрос, требовавший краткого ответа, император сказал, что он благодарит, и наклонился. Князь Андрей вышел, и, сам не зная отчего, в первую минуту, несмотря на поразительную простоту фигуры и приемов императора, несмотря на свою философию, князь Андрей почувствовал себя не совсем трезвым. Его окружили, когда он вышел из двери кабинета, со всех сторон глядели на него ласковые глаза, улыбки и слышались ласковые слова. Вчерашний учтивый флигель-адъютант делал ему ласковые упреки, зачем он не остановился во дворце в отделении для иностранных курьеров. Военный министр подошел, поздравляя его с орденом Марии-Терезии 3-й степени, которым жаловал его император. Он не знал, кому отвечать, и несколько секунд собирался с мыслями. Русский посланник взял его за плечо, отвел к окну и стал говорить с ним. Противно ожиданиям его и Билибина представле-

ние имело полный успех. Назначено было благодарственное молебствие. Кутузов был награжден Марией-Терезией большого креста, и вся армия получила награды. Императрица желала видеть князя Болконского, и приглашения на обеды и вечера сыпались на него со всех сторон.

По возвращении из дворца князь Андрей, сидя в коляске, мысленно сочинял письмо к отцу обо всех обстоятельствах сражения, поездки в Брюнн и разговора с императором. О чем он ни думал, разговор с императором, этот пустой, этот просто глупый разговор, возникал снова в его воображении со всеми малейшими подробностями выражения лица и интонации императора Франца.

«В котором часу убили генерала Шмидта? – повторял он сам себе. – Очень нужно было ему знать, в котором именно часу убит генерал Шмидт. Отчего он не спросил, во сколько минут и секунд? Какие важные для государства соображения он выведет из этого знания? Но хуже и глупее вопроса – то волнение, с которым я приступал к этому разговору. И волнение всех этих стариков при мысли о том, что он говорил со мной. Два дня тому назад, стоя под пулями, из которых каждая могла принести смерть, я не испытывал и сотой доли того волнения, которое я почему-то ощущал, разговаривая с этим простым, добрым и вполне ничтожным человеком. Да, надо быть философом», – заключил он и, вместо того чтобы ехать прямо к Билибину, поехал в книжную лавку запастись на поход книгами. Он засиделся, перебирая неизвестные ему философские сочинения, более часа. Когда он подъехал к крыльцу Билибина, его удивил вид стоявшей тут до половины уложенной брички, и Франц, слуга Билибина, который с расстроенным видом выбежал ему навстречу.

– Ах! Ваше сиятельство! – говорил Франц. – Несчастье!

– Что такое? – спросил Болконский.

– Мы отправляемся еще далее, бог знает куда. Злодей уже опять за нами по пятам.

Билибин вышел навстречу Болконскому. На всегда спокойном лице Билибина было волнение.

– Нет, нет, признайтесь, что это прелесть, – говорил он, – эта история с Таборским мостом в Вене. Они перешли его без сопротивления.

Князь Андрей ничего не понимал.

– Да откуда же вы, что вы не знаете того, что уже знают все кучера в городе? Разве вы не из дворца?

– Из дворца. Я видел и императора. Кутузов получил большой крест Марии-Терезии.

– Теперь не до крестов дело. Неужели там ничего не знают?

– Ничего, может быть, после меня; я оттуда заехал в лавки... Да в чем дело?

– Ну, теперь я понимаю. В чем дело? Это прекрасно!.. Французы перешли мост, который защищает Ауэрсберг, и мост не взорвали, так что Мюрат бежит теперь по дороге к Брюнну и нынче-завтра они будут здесь.

– Как здесь? Да как же не взорвали мост, когда он минирован?

– А это я у вас спрашиваю. Этого никто, и сам Бонапарт, не знает.

Болконский пожал плечами.

– Но ежели мост перейден, значит, и армия погибла, она будет отрезана, – сказал он.

– Я думаю.

– Но как же это случилось?

– В этом-то и штука, и прелесть. Слушайте. Вступают французы в Вену, как я вам говорил. Все очень хорошо. На другой день, то есть вчера, господа маршалы, Мюрат, Ланн и Бельяр, садятся верхом и отправляются на мост. (Заметьте, все трое гасконцы.) «Господа, – говорит один, – вы знаете, что Таборский мост минирован и контраминирован и что перед нами грозное мостовое укрепление и пятнадцать тысяч войска, которому велено взорвать мост и нас не пускать. Но нашему государю императору Наполеону будет приятно, ежели мы возьмем этот мост. Поедьте втроем и возьмем этот мост». «Поедьте», – говорят другие, и они отправля-

ются и берут мост, переходят его, и теперь со всею армией по эту сторону Дуная направляются на нас, на вас и на ваши сообщения.

– Полноте шутить.

– Нисколько не шучу, – продолжал Билибин, отвечая на нетерпеливое и недоверчивое движение Болконского, – ничего нет справедливее и печальнее. Господа эти приезжают на мост одни и поднимают белые платки, уверяют, что перемирие и что они, маршалы, едут для переговоров с князем Ауэрспергом. Дежурный офицер пускает их в мостовое укрепление. Они рассказывают ему тысячу гасконских глупостей, говорят, что война кончена, что император Франц назначил свидание Бонапарту, что они желают видеть князя Ауэрсперга, и тысячу гасконцев и проч. Офицер посылает за Ауэрспергом, господа эти обнимают офицеров, шутят, садятся на пушки, а между тем французский батальон, незамеченный, входит на мост, сбрасывает мешки с горючими веществами в воду и подходит к мостовым укреплениям. Наконец, является сам генерал-лейтенант, наш милый князь Ауэрсберг фон Маутерн. «Милый неприятель! Цвет австрийского воинства, герой турецких войн! Вражда кончена, мы можем подать друг другу руку... Император Наполеон сторает желанием узнать князя Ауэрсберга». Одним словом, эти господа не даром гасконцы, так забрасывают этого индейского петуха Ауэрсберга прекрасными словами, он так прельщен своею столь быстро установившеюся интимностью с французскими маршалами, так ослеплен видом мантии и страусовых перьев Мюрата, что он видит только их огонь и забывает о своем, о том, который он обязан был открыть против неприятеля.

(Несмотря на живость своей речи, Билибин не забыл приостановиться после этого, чтобы дать время оценить его.)

Французский батальон вбегает на мостовое укрепление, заколачивают пушки, и мост взят. Нет, но, что лучше всего, – продолжал он, успокаиваясь в своем волнении прелестью собственного рассказа, – это то, что сержант, приставленный к той пушке, по сигналу которой должно было зажигать мины и взрывать мост, сержант этот, увидав, что французские войска бегут на мост, хотел уже стрелять, но Ланн отвел его руку. Сержант, который, видно, был умнее своего генерала, подходит к Ауэрсбергу и говорит: «Князь, вас обманывают, вот французы!» Мюрат видит, что дело проиграно, ежели дать говорить сержанту. Он с притворным удивлением (настоящий гасконец) обращается к Ауэрсбергу: «Я не узнаю столь хваленную в мире австрийскую дисциплину, – говорит он, – и вы позволяете так говорить с вами низшему чину». Это гениально. Князь Ауэрсберг оскорбляется и приказывает арестовать сержанта. Нет, признайтесь, что это прелесть – вся эта история с мостом. Это не то что глупость, не то что подлость.

– Быть может, измена, – сказал князь Андрей, видимо, не могший разделить удовольствия, которое находил Билибин в глупости рассказанного факта. Рассказ этот мгновенно изменил его вынесенное из дворца городское, великосветское расположение духа. Он думал о том положении, в которое поставлена теперь армия Кутузова, думал о том, как ему, вместо покойных дней в Брюнне, предстоит тотчас скакать к армии и участвовать там или в отчаянной борьбе, или в позоре. И серые шинели, раны, пороховой дым и звуки пальбы мгновенно возникли живо в его воображении. И опять в эту минуту, как и всегда, когда он думал об общем ходе дел, в его душе странно соединилось сильное, гордое патриотическое чувство страха за поражение русских с торжеством о торжестве своего героя. Кампания кончена. Все силы всей Европы, все расчеты, все усилия уничтожены в два месяца гением и счастьем этого непостижимого рокового человека...

– Также нет. Это ставит двор в самое нелепое положение, – продолжал Билибин – Это ни измена, ни подлость, ни глупость, это как при Ульме... – Он как будто задумался, отыскивая выражение, – это маковщина. Мы обмакнулись, – заключил он, чувствуя, что он сказал *un mot* и свежее *mot*, такую шутку, которую будет повторять. Собранные до тех пор складки на

лбу быстро распустились в знак удовольствия, и он, слегка улыбаясь, стал рассматривать свои ногти.

– Куда вы? – сказал он вдруг, обращаясь к князю Андрею, который ни слова не сказал, встал и направился в свою комнату.

– Я еду.

– Куда?

– В армию.

– Да вы хотели остаться еще два дня.

– А теперь я еду сейчас.

И князь Андрей, сделав распоряжение об отъезде, ушел в свою комнату.

– Знаете что, мой милый, – сказал Билибин, входя к нему в комнату. – Я подумал об вас. Зачем вы поедете? – И в доказательство неопровержимости этого довода складки все сбежали с лица.

Князь Андрей вопросительно посмотрел на своего собеседника и ничего не ответил.

– Зачем вы поедете? Я знаю, вы думаете, что ваш долг скакать в армию теперь, когда армия в опасности. Я это понимаю, мой милый, это героизм.

– Нисколько, – сказал князь Андрей.

– Но вы философ; будьте же им вполне, посмотрите на вещи с другой стороны, и вы увидите, что ваш долг, напротив, беречь себя. Предоставьте это другим, которые ни на что более не годны. Вам не велено приезжать назад, и отсюда вас не отпустили, стало быть, вы можете остаться и ехать с нами, куда нас повлечет наша несчастная судьба. Говорят, едут в Ольмюц. А Ольмюц очень милый город. И мы с вами вместе спокойно поедem в моей коляске.

– Вы шутите, Билибин, – сказал Болконский.

– Я говорю вам искренно и дружески. Рассудите. Куда и для чего вы поедете теперь, когда вы можете оставаться здесь? Вас ожидает одно из двух (он собрал кожу над левым виском): или не доедете до армии, и мир будет заключен, или поражение и срам со всею кутузовскою армией.

И Билибин распустил кожу, чувствуя, что дилемма его неопровержима.

– Этого я не могу рассудить, – холодно отвечал князь Андрей. – Больше, чем философ, я человек, и потому я еду.

– Милый мой, вы герой, – сказал Билибин.

– Вовсе нет, я простой офицер, исполняющий свой долг, вот и все, – не без гордости сказал князь Андрей.

XIV

В ту же ночь, откланявшись военному министру, Болконский ехал к армии, сам не зная, где он найдет ее, и опасаясь по дороге к Кремсу быть перехваченным французами.

В Брюнне все придворное население укладывалось, и уже отправлялись тяжести в Ольмюц. Для чего Болконский поехал в армию, а не остался в Брюнне, какими рассуждениями он дошел до этого, он не мог бы сказать. Как только он услышал страшное известие от Билибина, мгновенно медаль жизни, на которую он смотрел с веселой стороны, перевернулась. Он увидел одно дурное во всем и инстинктивно почувствовал необходимость принять участие во всем этом дурном. «Ничего не может выйти, кроме сраму и гибели для наших войск, при условиях, в которых мы боремся с этим роковым гением», – думал он с мрачными мыслями, усталый, голодный и сердитый, миновав французов и подъезжая на другой день к тому месту, где, по слухам, должен был находиться Кутузов. Около Эцельсдорфа князь Андрей выехал на дорогу, по которой с величайшею поспешностью и в величайшем беспорядке двигалась русская армия. Дорога была так запружена повозками, что невозможно было ехать в экипаже. Взяв у казачьего начальника лошадь и казака, князь Андрей, обгоняя обозы, ехал отыскивать главнокомандующего и свою повозку. Самые зловещие слухи о положении армии доходили до него дорогой; вид же беспорядочно бегущей армии еще более утвердил его в убеждении, что дело кампании окончательно проиграно. Он смотрел на все совершавшееся вокруг него презрительно и грустно, как человек, уже не принадлежащий к этому миру.

«Эта русская армия, которую английское золото принесло сюда с конца света, отведает ту же участь, участь ульмской армии», – вспомнил он слова приказа Бонапарта своей армии перед началом кампании, и слова эти одинаково возбуждали в нем удивление к гениальному герою и чувство оскорбленной гордости. «Ничего не остается, кроме как умереть, – думал он. – Что же, коли нужно!

Я сделаю это не хуже других».

Беспорядок и поспешность движения армии, увеличиваемые беспрестанно повторяемыми приказаниями главного штаба идти сколь возможно скорее, достигли высшей степени. Шутники-казаки, хотевшие посмеяться над спавшими в повозках денщиками, крикнули: «Французы», – и проскакали мимо. Крик: «Французы!» – как нарастающий ком снега прокатился по всей колонне: всё бросилось, давя и обгоняя друг друга, и слышались даже выстрелы и батальный огонь пехоты, стрелявшей сама не зная в кого. Едва через четверть часа могли начальники движения остановить эту суматоху, стоявшую жизни нескольким человеком, которые были задавлены, и одному, который был застрелен.

Князь Андрей с равнодушным презрением смотрел на эти бесконечные, мешавшие команды, повозки, парки, артиллерию, и опять повозки, повозки и повозки всех возможных видов, обгонявшие одна другую и в три, в четыре ряда запружавшие грязную дорогу. Со всех сторон, назади и впереди, куда хватал слух, слышались звуки колес, громы кузовов телег и лафетов, лошадиный топот, удары кнутом, крики понуканий, ругательства солдат, денщиков и офицеров. По краям дороги видны были беспрестанно то павшие ободранные и неободранные лошади, то сломанные повозки, у которых, дожидаясь чего-то, сидели одинокие солдаты, то отделившиеся от команд солдаты, которые толпами направлялись в соседние деревни или тащили из деревень кур, баранов, сено или мешки, чем-то наполненные. На спусках и подъемах толпы делались гуще, и стоял непрерывный стон криков. Солдаты, утопая по колено в грязи, на руках подхватывали орудия и фуры; бились кнуты, скользили копыта, лопались построики и надрывались криками груди. Офицеры, заведовавшие движением, то вперед, то назад проезжали между обозами. Голоса их были слабо слышны среди общего гула, и по лицам их видно было, что они отчаивались в возможности остановить этот беспорядок.

«Вот оно, уважаемое православное воинство», – подумал Болконский, вспоминая слова Билибина.

Желая спросить у кого-нибудь из этих людей, где главнокомандующий, он подъехал к обозу. Прямо против него ехал странный, в одну лошадь экипаж, видимо, устроенный домашними солдатскими средствами, представлявший середину между телегой, кабриолетом и коляской. В экипаже правил солдат и сидела под кожаным верхом за фартуком женщина, вся обвязанная платками. Князь Андрей подъехал и уже обратился с вопросом к солдату, когда его внимание обратили отчаянные крики женщины, сидевшей в кибиточке. Офицер, заведовавший обозом, бил солдата, сидевшего кучером в этой колясочке, за то, что он хотел объехать других, и плеть попадала по фартуку экипажа. Женщина пронзительно кричала. Увидав князя Андрея, она высунулась из-за фартука и, махая худыми руками, выскочившими из-под коврового платка, кричала:

– Адъютант! Господин адъютант!.. Ради бога... защитите! Что ж это будет?.. Я лекарская жена 7-го егерского... не пускают, мы отстали, своих потеряли...

– В лепешку расшибу, заворачивай! – кричал озлобленный офицер на солдата. – Заворачивай назад со шлюхой своею.

– Господин адъютант, защитите. Что ж это? – кричала лекарша.

– Извольте пропустить эту повозку. Разве вы не видите, что это женщина? – сказал князь Андрей, подъезжая к офицеру.

Офицер взглянул на него и, не отвечая, повернулся опять к солдату.

– Я-те объеду... Назад!..

– Пропустите, я вам говорю, – опять повторил, поджимая губы, князь Андрей.

– А ты кто такой? – вдруг с пьяным бешенством обратился к нему офицер. – Ты кто такой? Ты (он особенно упирал на ты) начальник, что ль? Здесь я начальник, а не ты. Ты, назад, – повторил он, – в лепешку расшибу.

Это выражение, видимо, понравилось офицеру.

– Важно отбрил адъютантика, – послышался голос сзади.

Князь Андрей видел, что офицер находился в том пьяном припадке беспричинного бешенства, в котором люди не помнят, что говорят. Он видел, что его заступничество за лекарскую жену в кибиточке исполнено того, чего он боялся больше всего в мире, того, что называется глупо-смешным, но инстинкт его говорил другое. Не успел офицер договорить последних слов, как князь Андрей, со страшно изуродованным бешенством лицом, подъехал к нему и поднял нагайку.

– Из-воль-те про-пус-тить!

Офицер махнул рукой и торопливо отъехал прочь.

– Все от этих штабных беспорядок весь, – проворчал он. – Делайте ж как знаете.

Князь Андрей торопливо, не поднимая глаз, отъехал от лекарской жены, называвшей его спасителем, и, с отвращением вспоминая мельчайшие подробности этой унижительной сцены, поскакал дальше к той деревне, где, как ему сказали, находился главнокомандующий.

Въехав в деревню, он слез с лошади и пошел к первому дому с намерением отдохнуть хоть на минуту, съесть что-нибудь и привести в ясность все эти оскорбительные, мучившие его мысли.

«Это толпа мерзавцев, а не войско», – думал он, подходя к окну первого дома, когда знакомый ему голос назвал его по имени.

Он оглянулся. Из маленького окна высовывалось красивое лицо Несвицкого. Несвицкий, махая руками, звал его к себе.

– Болконский! Болконский! Не слышишь, что ли? Иди скорее, – кричал он.

Войдя в дом, князь Андрей увидал Несвицкого и еще другого адъютанта. Они поспешно обратились к Болконскому с вопросом, не знает ли он чего нового? На их столь знакомых

ему лицах князь Андрей прочел выражение тревоги и беспокойства. Выражение это особенно заметно было на всегда смеющемся лице Несвицкого.

– Где главнокомандующий? – спросил Болконский.

– Здесь, в этом доме, – отвечал адъютант.

– Ну, что ж? Правда, что мир и капитуляция? – спрашивал Несвицкий.

– Я у вас спрашиваю. Я ничего не знаю, кроме того, что я насилу добрался до вас.

– А у нас, брат, что! Ужас! Винюсь, брат, над Макком смеялись, а самим еще хуже приходится, – сказал Несвицкий. – Да садись же, поешь чего-нибудь.

– Теперь, князь, ни повозок, ничего не найдете, и ваш Петр бог его знает где, – сказал другой адъютант.

– Где ж главная квартира? В Цнайме ночуем?

– А я так перевьючил себе все, что мне нужно, на двух лошадей, – сказал Несвицкий, – и выюки отличные мне сделали. Хотя через Богемские горы удирать. Плохо, брат. Да что ты, верно, нездоров, что так вздрагиваешь? – спросил Несвицкий, заметив, как князя Андрея дернуло, будто от прикосновения к лейденской банке.

– Ничего, – ответил князь Андрей.

Он вспомнил в эту минуту о недавнем столкновении с лекарскою женой и фурштатским офицером.

– Что главнокомандующий здесь делает? – спросил он.

– Ничего не понимаю, – сказал Несвицкий.

– Я одно понимаю, что все мерзко, мерзко и мерзко, – сказал князь Андрей и пошел в дом, где стоял главнокомандующий.

Пройдя мимо экипажа Кутузова, верховых замученных лошадей свиты и казаков, громко говоривших между собою, князь Андрей вошел в сени. Сам Кутузов, как сказали князю Андрею, находился в избе с князем Багратионом и Вейротером. Это был австрийский генерал, заменивший убитого Шмидта. В сенях же маленький Козловский сидел на корточках перед писарем. Писарь на перевернутой кадушке, заворотив обшлага мундира, поспешно писал. Лицо Козловского было измученное – он, видно, тоже не спал ночь – и мрачное, озабоченное, больше чем когда-нибудь. Он взглянул на князя Андрея и даже не кивнул ему головой.

– Вторая линия... Написал? – продолжал он, диктуя писарю. – Киевский гренадерский, Подольский...

– Не поспеешь, ваше высокоблагородие, – отвечал писарь, непочтительно и сердито оглядываясь на Козловского.

Из-за двери слышен был в это время оживленно-недовольный голос Кутузова, перебиваемый другим, незнакомым голосом. В звуке этих голосов, в невнимании, с которым взглянул на него Козловский, в непочтительности измученного писаря, в самом том факте, что писарь и Козловский сидели так близко от главнокомандующего на полу около кадушки, что казаки, державшие лошадей, смеялись громко под окном дома, князь Андрей чувствовал, что должно было случиться что-нибудь важное и несчастливое. Князь Андрей, однако, действительно обратился к Козловскому с вопросами.

– Сейчас, князь, – сказал Козловский. – Диспозиция Багратиону.

– А капитуляция?

– Никакой нет, сделаны все распоряжения к сражению.

Князь Андрей направился к двери, из-за которой слышны были голоса.

Но в то время как он хотел открыть дверь, голоса в комнате замолкли, дверь сама открылась, и Кутузов показался на пороге. Князь Андрей стоял прямо против Кутузова, но по выражению единственного зрячего глаза главнокомандующего видно было, что мысль и забота так сильно занимали его, что как будто застилали ему зрение. Он прямо смотрел на лицо своего адъютанта и не узнавал его.

– Ну что, кончили? – обратился он к Козловскому.

– Сию секунду, ваше высокопревосходительство.

Багратион, невысокий, с восточным типом твердого и неподвижного лица, сухой, еще не старый человек, вышел за главнокомандующим.

– Честь имею явиться, – повторил довольно громко князь Андрей, подавая конверт.

– А, из Вены? Хорошо. После, после.

Кутузов вышел с Багратионом на крыльцо.

– Ну, князь, прощай! Христос с тобой. Благословляю тебя на великий подвиг.

Лицо Кутузова неожиданно смягчилось, и слезы показались в его глазах. Он притянул к себе левою рукою Багратиона, а правой, на которой было кольцо, видимо, привычным жестом перекрестил его и подставил ему пухлую щеку, вместо которой Багратион поцеловал его в шею.

– Христос с тобой! – повторил Кутузов и подошел к коляске.

– Садись со мной, – сказал он Болконскому.

– Ваше высокопревосходительство, я желал бы быть полезен здесь. Позвольте мне остаться в отряде князя Багратиона.

– Садись, – сказал Кутузов, заметив, что Болконский медлит, – мне хорошие офицеры самому нужны, самому нужны.

Они сели в коляску и молча проехали несколько минут.

– Еще впереди много, много будет всего, – сказал он со старческим выражением проницательности, как будто поняв, что делалось в душе Болконского. – Ежели из отряда его придет завтра одна десятая часть, я буду благодарить Бога, – прибавил Кутузов, как бы говоря сам с собой.

Князь Андрей взглянул на Кутузова, и ему невольно бросились в глаза, в полуаршине от него, чисто промытые сборки шрама на виске Кутузова, где измаильская пуля пронизала ему голову. «Да, он имеет право так спокойно говорить о гибели этих людей», – подумал Болконский.

– От этого я и прошу отправить меня в этот отряд, – сказал он.

Кутузов не ответил. Он, казалось, уж забыл о том, что было сказано им, и сидел задумавшись. Через пять минут, плавно раскачиваясь на мягких рессорах коляски, Кутузов обратился к князю Андрею. На лице его не было и следа волнения. Он с тонкою насмешливостью расспрашивал князя Андрея о подробностях его свидания с императором и отзывах, слышанных при дворе о кремском деле. Видно было, что он предвидел все, что рассказывал его адъютант.

XV

Кутузов через своего лазутчика получил 1-го ноября известие, ставившее командуемую им армию почти в безвыходное положение. Лазутчик доносил, что французы в огромных силах, перейдя Венский мост, направились на путь сообщения Кутузова с войсками, шедшими из России. Ежели бы Кутузов решился оставаться в Кремсе, то полуторастатысячная армия Наполеона отрезала бы его от всех сообщений, окружила бы его сорокатысячную изнуренную армию, и он находился бы в положении Макка под Ульмом. Ежели бы Кутузов решился оставить дорогу, ведущую на сообщения с войсками из России, то он должен был вступить без дороги в неизвестные края Богемских гор, защищаясь от превосходящего силами неприятеля, и оставить всякую надежду на сообщения с Буксгевденом. Ежели бы Кутузов решился отступать по дороге из Кремса в Ольмюц на соединение с войсками из России, то он рисковал быть предупрежденным на этой дороге французами, перешедшими мост в Вене, и таким образом быть принужденным принять сражение на походе, со всеми тяжестями и обозами, и имея дело с неприятелем, втрое превосходившим его и окружавшим его с двух сторон. Кутузов избрал этот последний выход.

Французы, как доносил лазутчик, перейдя мост в Вене, усиленными маршами шли на Цнайм, лежавший на пути отступления Кутузова, впереди его более чем на сто верст. Достигнуть Цнайма прежде французов значило получить большую надежду на спасение армии; дать французам предупредить себя в Цнайме значило наверное подвергнуть всю армию позору, подобному Ульмскому, или общей гибели. Но предупредить французов со всею армией было невозможно. Дорога французов от Вены до Цнайма была короче и лучше, чем дорога русских от Кремса до Цнайма.

В ночь получения известия Кутузов послал шеститысячный авангард Багратиона направо горами с кремско-цнаймской дороги на венско-цнаймскую. Багратион должен был пройти без отдыха этот переход, остановиться лицом к Вене и задом к Цнайму, и ежели бы ему удалось предупредить французов, то он должен был задерживать их, сколько мог. Сам же Кутузов со всеми тяжестями тронулся к Цнайму.

Пройдя с голодными, разутыми солдатами, без дороги, по горам, в бурную ночь, сорок пять верст, растеряв третью часть отсталыми, Багратион вышел в Голлабрун, на венско-цнаймскую дорогу, несколькими часами прежде французов, подходивших к Голлабруну из Вены. Кутузову надо было идти еще целые сутки с своими обозами, чтобы достигнуть Цнайма, и потому, чтобы спасти армию, Багратион должен был, с четырьмя тысячами голодных, измученных солдат, удерживать в продолжение суток всю неприятельскую армию, встретившуюся с ним в Голлабруне, что было, очевидно, невозможно. Но странная судьба сделала невозможное возможным. Успех этого обмана, который без боя отдал Венский мост в руки французов, побудил Мюрата попытаться обмануть так же и Кутузова. Мюрат, встретив слабый отряд Багратиона на цнаймской дороге, подумал, что это была вся армия Кутузова. Чтобы несомненно раздавить эту армию, он поджидал отставшие по дороге из Вены войска и с этой целью предложил перемирие на три дня, с условием, чтобы те и другие войска не изменяли своих положений и не трогались с места. Мюрат уверял, что уже идут переговоры о мире и что потому, избегая бесполезного пролития крови, он предлагает перемирие. Австрийский генерал граф Ностиц, стоявший на аванпостах, поверил словам парламентаря Мюрата и отступил, открыв отряд Багратиона. Другой парламентарь поехал в русскую цепь объявить то же известие о мирных переговорах и предложить перемирие русским войскам на три дня. Багратион отвечал, что он не может принимать или не принимать перемирия и с донесением о сделанном ему предложении послал к Кутузову своего адъютанта.

Перемирие для Кутузова было единственным средством выиграть время, дать отдохнуть измученному отряду Багратиона и пройти обозам и тяжестям, движение которых было скрыто от французов, хотя бы один лишний переход до Цнайма. Предложение перемирия давало единственную и неожиданную возможность спасти армию. Получив это известие, Кутузов немедленно послал состоявшего при нем генерал-адъютанта Винценгероде в неприятельский лагерь. Винценгероде должен был не только принять перемирие, но и предложить условия капитуляции, а между тем Кутузов послал своих адъютантов назад торопить сколь возможно движение обозов всей армии по кремско-цнаймской дороге. Измученный, голодный отряд Багратиона один должен был, прикрывая собой движение обозов и всей армии, неподвижно оставаться перед неприятелем, в восемь раз сильнеешим.

Ожидания Кутузова сбылись как относительно того, что предложения капитуляции, ни к чему не обязывающие, могли дать время пройти некоторой части обозов, так и относительно того, что ошибка Мюрата должна была открыться очень скоро. Как только Бонапарт, находившийся в Шенбрунне, в 25 верстах от Голлабруна, получил донесение Мюрата и проект перемирия и капитуляции, он увидел обман и написал следующее письмо Мюрату:

Принцу Мюрату.

Шенбрунн, 25 брюмера 1805 г. в восемь часов утра.

Я не могу найти слов, чтобы выразить вам мое неудовольствие. Вы командуете только моим авангардом и не имеете права делать перемирие без моего приказа. Вы заставляете меня потерять плоды целой кампании. Немедленно разорвите перемирие и идите против неприятеля. Вы объявите ему, что генерал, подписавший эту капитуляцию, не имел на это права, и никто не имеет, исключая лишь русского императора.

Впрочем, если российский император согласится на упомянутое условие, я тоже соглашусь, но это не что иное, как хитрость. Идите, уничтожьте русскую армию. Вы можете взять ее обозы и ее артиллерию.

Генерал – адъютант русского императора... Офицеры ничего не значат, когда не имеют официальных полномочий, он также их не имеет. Австрийцы дали себя обмануть при переходе Венского моста, а вы даете себя обмануть этому генералу – адъютанту императора.

Наполеон.

Адъютант Бонапарта во всю прыть лошади скакал с этим грозным письмом к Мюрату. Сам Бонапарт, не доверяя своим генералам, со всею гвардией двигался к полю сражения, боясь упустить готовую жертву, а четырехтысячный отряд Багратиона, весело раскладывая костры, сушился, обогревался, варил, в первый раз после трех дней, кашу, и никто из людей отряда не знал и не думал о том, что предстояло ему.

XVI

В четвертом часу вечера князь Андрей, настояв на своей просьбе у Кутузова, приехал в Грунт и явился к Багратиону. Адьютант Бонапарта еще не приехал в отряд Мюрата, и сражение еще не начиналось. В отряде Багратиона ничего не знали об общем ходе дел, говорили о мире, но не верили в его возможность. Говорили о сражении и тоже не верили и в близость сражения. Багратион, зная Болконского за любимого и доверенного адъютанта, принял его с особенным начальническим отличием и снисхождением, объяснил ему, что, вероятно, нынче или завтра будет сражение, и предоставил ему полную свободу находиться при нем во время сражения или в арьергарде наблюдать за порядком отступления, «что тоже было очень важно».

– Впрочем, нынче, вероятно, дела не будет, – сказал Багратион, как бы успокаивая князя Андрея.

«Ежели это один из обыкновенных штабных франтиков, посылаемых для получения крестика, то он и в арьергарде получит награду, а ежели хочет со мной быть, пускай... пригодится, коли храбрый офицер», – подумал Багратион.

Князь Андрей, ничего не ответив, попросил позволения князя объехать позицию и узнать расположение войск с тем, чтобы в случае поручения знать, куда ехать. Дежурный офицер отряда, мужчина красивый, щеголевато одетый и с алмазным перстнем на указательном пальце, дурно, но охотно говоривший по-французски, вызвался проводить князя Андрея.

Дежурный штаб-офицер занимал один из разоренных домов деревни Грунт, и князь Андрей зашел к нему, в то время как им седлали лошадей. За разломанной перегородкой топились печь, и перед печью морщились и светлели сушившиеся мокрые сапоги и дымились насквозь промокшая шинель. В горнице на полу спали три офицера, атмосфера была тяжелая.

– Присядьте, князь, хоть тут, – сказал штаб-офицер по-французски. – Сейчас мне лошадь подадут. Это наши господа, князь. Ведь две ночи под дождем, негде и посушиться было.

Жалкий и грустный вид представляли эти офицеры. Такой же печальный и беспорядочный вид представляла вся деревня, когда они, сев на лошадей, проезжали ее. Со всех сторон виднелись мокрые, с грустными лицами офицеры, чего-то как будто искавшие, и солдаты, тащившие из деревни двери, лавки и заборы.

– Вот не можем, князь, избавиться от этого народа, – сказал штаб-офицер, указывая на этих людей. – Распускают командиры.

А вот здесь, – он указал на раскинутую палатку маркитанта, – собьются и сидят. Нынче утром всех выгнал, посмотрите, опять полна. Надо подъехать, князь, пугнуть их. Одна минута.

– Заедемте, и я возьму у него сыру и булку, – сказал князь Андрей, который не успел еще поест.

– Что ж вы не сказали, князь?

Они сошли с лошадей и вошли в палатку маркитанта. Несколько человек офицеров с раскрасневшимися и истомленными лицами сидели за столами, пили и ели.

– Ну что ж это, господа, – сказал штаб-офицер тоном упрека, как человек, уже несколько раз повторявший одно и то же. – Ведь нельзя же отлучаться так. Князь приказал, чтобы никого не было. Ну, вот вы, господин штабс-капитан, – обратился он к маленькому, грязному, худому артиллерийскому офицеру, который без сапог (он отдал их сушить маркитанту), в одних чулках встал перед вошедшими, улыбаясь не совсем естественно.

– Ну, как вам, капитан Тушин, не стыдно? – продолжал штаб-офицер. – Вам бы, кажется, как артиллеристу, надо пример показывать, а вы без сапог. Забьют тревогу, а вы без сапог очень хороши будете. (Штаб-офицер улыбнулся.) Извольте отправляться к своим местам, господа, все, все, – прибавил он начальнически.

Князь Андрей невольно улыбнулся, взглянув тоже на штабс-капитана Тушина. Молча и улыбаясь, Тушин переступал с босой ноги на ногу, вопросительно глядел большими умными и добрыми глазами то на князя Андрея, то на штаб-офицера.

– Солдаты говорят: разумши ловчее, – сказал капитан Тушин, улыбаясь и робея, видимо, желая из своего неловкого положения перейти в шуточный тон; но еще он не договорил, как почувствовал, что шутка его не принята и не вышла. Он смутился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.